

ISSN 0236-3283

2/91

МЫ

“БЕЛЫЙ ГОРОД”
БЕРЕЖЕТ СТОЛИЦУ



Главный редактор
Геннадий БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АБРАМОВ
Тамара АЛЕКСАНДРОВА
Игорь ВАСИЛЬЕВ
(ответственный секретарь)
Андрей КОСЕНКИН
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Главный художник
Валерий КРАСНОВСКИЙ

Художественный редактор
Елена СОКОВА

Технический редактор
Ольга ЛАЗАРЕВА

На первой странице обложки
фото Анатолия ЗЫБИНА

Адрес редакции:
107005, Москва, Б-5, аб. ящик № 1.

© "МЫ", 1991
Издательство "Дом"
Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101963, Москва,
Армянский переулок, 11/2А.
Телефон: 923-66-61

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтиёт
Соинпринт Финляндия
при посредничестве
В/О "Внешторгиздат"

Сдано в набор 27.11.90. г.
Подписано в печать 24.12.90. г.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,1.
Уч. - изд.л. 12,72. Тираж 1000000

2/91



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Оля Лялина. Непохожие наши лица 2

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Владимир Михановский. Великий посев.
Фантастическая повесть 12
Зарубежный детектив. **Говард Фаст.** Филлис. Роман.
Перевод с английского. Окончание 125
Геннадий Фролов. Спасибо за то,
что я молод... Стихи 86

ПРОБА ПЕРА

Ирина Лобусова. Живу, как все. Стихи 178
Антон Захаров. Музыка для двоих. Стихи 179

НАШЕ ВЕЧНОЕ

Учение Христа, изложенное для детей
Львом Толстым. Продолжение 88

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

Владимир Чередниченко. После свадьбы, или
Супружеская жизнь вчерашней десятиклассницы 105
Рано, не рано... 118
Письма в "МЫ" 68
Ищу друга 102

КУМИРЫ И ЗВЕЗДЫ

Тереза Карпентер. Арнольд Шварценеггер –
человек, создавший самого себя 72
Версии. **Инна и Альбина Сиам.** Белая роза 186

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Нина Тихонова. Музыка для детей и инвалидов 180
Мозаика 183
На малом экране. Видеообзор 191

НЕПОХОЖИЕ НАШИ ЛИЦА



Я вошла в одну из дверей, поднялась по лестнице, которая, как оказалось поначалу, напрасно уцелела среди разрушенных этажей, и она привела меня к квартире № 8, где расположился штаб культурно-исторического общества "Белый город". Руководит им Иван Стульнев, студент Московского историко-архивного института.

Он и его единомышленники уже несколько месяцев пикетировали это старинное здание, усадьбу XIX века, преградив путь тем, кто хотел построить на ее месте современный Дом Бизнесмена.

Так кто же они такие, эти белгородцы? Откуда их энтузиазм и настойчивость? Чего они хо-

На Петровском бульваре почти не слышно
гула Пушкинской площади,
а во дворе дома № 12 и вовсе тихо.
Тихо и уютно, как может быть около развалин.
В первый момент мне стало не по себе —
безжизненные глаза окон, умирающие стены,
подставившие свои внутренности мелкому осеннему дождю...
И все-таки они еще дышали, дом был жив,
потому что его не бросили люди.
Об этом говорили и доски, перекинутые
через большую лужу во дворе, и листы фанеры
с начертанными на них призывами о помощи.



тят, какова программа их общества? Рассказать об этом я и попросила Ивана.

— О многом говорит само название — "Белый город". Так в старину именовалась московская крепость, каменная стена, проходившая по линии нынешнего Бульварного кольца. Она была разобрана в XVIII веке, а название осталось за исторически сложившейся частью города. И для нас Белый город — символ старой Москвы, которая все больше растворяется сейчас в новом, сером, безликом городе, заселенном людьми, не знающими московской культуры и истории. Чем мы можем помочь Москве и людям, которым она дорога? Не вернуть уже погибших памятников, не перестроить уродливых кварталов. Остается только защищать то, что еще не успели разрушить. Например, наша усадьба — это не шедевр архитектуры, обычный дом прошлого века. Но можно ли сказать, что он не имеет ценности? Поставь на его месте новое здание — и будет разрушена архитектурная среда, пострадает историческая ткань Петровского бульвара. Вот почему мы здесь.

Не только охраняем дом, убираем двор, выносим мусор, в общем, готовим усадьбу к реставрации.

— Сколько вас и как вы нашли друг друга?

— Многих из нас свела работа в шефских отрядах Общества охраны памятников — помогали на реставрации. Но мы стремились объединиться и на основе общности мировоззрения. "Мы" — верующие ребята и девушки, примерно 40 человек. Так что "Белый город" — это, скорее всего, не

общество, как нас часто называют, а православная община (правда, у нас пока нет своей церкви, но, возможно, к нам перейдет храм Сергия в Крапивках — а это рядом). Мы вместе ходим в церковь, во всем помогаем друг другу, вместе и в радости и в горе. Конечно, можно молиться и в одиночку, но так никогда не воскресить дух коллективной веры.

— А трудно быть членом вашей общины, ведь существуют, наверное какие-то запреты, правила?

— Трудно, поэтому никакого официального членства у нас нет. Вновь приходим мы даем возможность осмотреться, понаблюдать за жизнью общины. И если человек решил остаться, значит, он принимает наш образ жизни. Что касается запретов, то достаточно следовать десяти заповедям: не убий, не прелюбодействуй... Мы не употребляем алкоголя, не курим...

— Иван, я где-то читала, что ваши дороги с "Памятью", которая тоже исповедует православие, разошлись. Я лично могу это только приветствовать, но все-таки хочу спросить — почему?

— Вернее сказать, наши пути никогда и не сходились. Мы не отрицаем добрых дел этой организации, ее участия в реставрации, охране памятников, но ей не хватает истинного христианского духа: терпимости, человечности. "Белый город" не ставит национальных вопросов ни в каком виде и всегда подчеркивает, что к "Памяти" никакого отношения не имеет. И чтобы нас не путали мы изменили свое первоначальное название "Русское ополчение", по-







тому что так называлась прежде и сычевская "Память".

— А с какими организациями вы сотрудничаете?

— С близкими нам по духу: Союзом потомков российского дворянства, Землячеством казаков... Поддерживаем связи с петербургскими общинами — Общиной Казанской Божьей Матери и Общиной Святого Георгия Победоносца. Это тоже патриотические православные организации мо-

нархического направления.

— Честно говоря, я впервые разговариваю с монархистом и мне удивительно, что мы почти ровесники. Для меня монархия — анахронизм. Ну, как ее связать с нашим временем, когда мы боремся за демократизацию общества?

— Даже если наше государство будет иметь демократическую структуру, останется оппозиция, будет продолжаться борьба за



власть, и ничто не исключит возможности диктата той или иной партии, как уже было. А царь — это гарант законности.

— **Но разве по царским указам не совершались преступления против народа?**

— Когда мы говорим о монархии, то не имеем в виду самодержавие. Наш идеал — народная монархия, то есть монарх во главе Земского собора.

— **Иван, а почему вы носите донскую казачью форму?**

— Мы изучаем традиции русской армии, той армии, в основе которой лежала верность присяге, долг и честь офицеров и солдат. Лучшему учимся следовать.

— **И вы делитесь на офицеров и солдат?**

— У нас есть унтер-офицеры,



самое старшее звание — старший урядник, это я. Но погон себе не нашиваем. Главное, придерживаться армейского этикета, уметь действовать в составе подразделения, владеть холодным оружием...

— *Зачем вам это?*

— Чтобы сохранить военное искусство прошлого столетия.

— *Иван, а чем еще вам удалось помочь Москве?*

— Мы сумели спасти Богородское кладбище, которое собирались сносить с разрешения городских властей. Своими силами начали приводить его в порядок. Теперь там идут реставрационные работы. А здесь, на Петровском бульваре, "Белый город" останется надолго: много дел, много планов...

Во время этой встречи, меня не покидало ощущение, что я окунулась в совсем другой, не похожий на мой, мир, с другими законами, заботами и радостями. Православие, монархия... Еще недавно я бросилась бы клеймить эти взгляды, мобилизовав все накопленные в школе познания, не попытавшись даже заметить добрых дел и побуждений. А вот сейчас захотелось другого — понять, взглядеться. Наше бурное нелегкое время меняет нас.

В тот день я встречалась со многими людьми, вела важные и несерьезные разговоры. И меня преследовала одна мысль: какие у нас у всех непохожие лица и души и хорошо, что они открыты.

Оля ЛЯЛИНА,
студентка
факультета журналистики МГУ
Фото Анатолия ЗЫБИНА





ЛЮДИ!
НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО!
ЗДЕСЬ ПОДСЯТ
ПАМЯТНИКИ
АРХИТЕКТУРЫ
XIX В.
ПОМОГИТЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСЕВ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Зерен не мог бы точно назвать момент времени, когда снова — впервые после катастрофы с кораблем и падения — включилось его сознание. Словно яркая вспышка озарила его, после чего нахлынули ощущения. Ощущения были знакомы: сколько раз уже приходилось переживать их, но всякий раз по-особому. Происходило это по двум причинам. Во-первых, на каждой планете свои природные условия, свои раздражители, свои соли и микроэлементы, растворенные в воде, — все это, конечно, воздействует по-разному. Во-вторых, с каждым новым назначением все, что происходило с Зереном прежде, стиралось из памяти, оставляя только смутные воспоминания, дающие порой тревожное, саднящее чувство. Так морской берег, с которого схлынула волна, все еще хранит память о следах, которые смыла вода...

Влага упорно просачивалась сквозь его внешнюю оболочку, Зерен ощущал каждую молекулу ее, и тело его неудержимо разбухало, увеличиваясь в размерах. Неведомые едкие примеси в воде доставляли мучительную боль, так что Зерен временами еле сдерживался, чтобы не издать сигнал боли.

Приходилось, однако, терпеть — ведь этот процесс перед выбросом стрелки неизбежен. Потом, когда число ростков-близнецов умножится, станет полегче.

Зерен прикинул расстояние до поверхности почвы: добрый десяток сантиметров, не меньше. Это хорошо.

Невыносимо ныл обожженный при катастрофе бок, который, видимо, разъедали соли.

Чтобы отвлечься от боли, он вызвал в памяти картину гибели ко-

рабля, который вез Зерена с миллионами собратьев. Они преодолели сотни парсеков, чтобы попасть в катастрофу, и где же? — у самой цели.

Собратьям так и не удастся выполнить главную свою миссию — они погибли в адском фотонном пламени, хлынувшем из разрушенных дюз. Остался только он один, и то обожженный и оглушенный. И ему никогда уже не возвратиться на материнскую планету.

Ну что ж, он и здесь, на этой пустынной планете, которая прозябает под палящим солнцем, постарается сделать все, на что способен.

Энергию для возвращения беречь ни к чему — корабль на орбите вокруг планеты, увы, не ждет его. Значит, Зерен употребит ее на другие цели!

От последней мысли стало легко, радостно, даже обожженный бок стал меньше саднить. Решено: уж коль скоро судьба забросила его в это жуткое место, безжизненную и бескрайнюю песчаную пустыню, которую он успел разглядеть, прежде чем сила инерции вонзила его в землю, — он попытается побороться с пустыней.

Зерен один продолжит дело Великого Посева до тех пор, пока хватит сил.

Невзрачная желтая звездочка на окраине соседней галактики была выбрана загодя как цель очередного десанта. По данным радиоастрономов, звездочка обладала планетной системой, по всей вероятности, безжизненной. Ну а если так, следовало привить на ней жизнь, расселить зелень, включить в зону Великого Посева — разве не в этом состояла главная задача тех, кто носит разум?..

Они шли сюда, как обычно, на фотонных парусах. Немало полетного времени прошло, пока неровно светящееся зернышко, неведомо кем брошенное в безбрежные поля вселенских просторов, начало набухать, как и положено зерну. Вскоре зерно сверкало в центральной части сферического экрана перед киберкапитаном, день и ночь бесменно стоящим у пульта управления.

Вскоре пылающее солнце заняло почти весь экран. Предметы на корабле раскалились — не притронешься, хотя вовсю работала система охлаждения. Члены экипажа расхаживали по отсекам, как сонные мухи, а Зерен и его братья, погруженные в анабиоз, дремали в прозрачных самораскрывающихся контейнерах, ожидая своего часа. Зерену не спалось — гипноз на этот раз не сумел одолеть его. Может быть, это его и спасло.

Зерен сквозь прозрачную оболочку контейнера наблюдал за дрожащей, вечно волнующейся поверхностью желтого светила. Это был клокочущий океан, колеблемый неведомой силой. Гигантские пузыри пламени выплывали из глубины и лопались, разбрызгивая куски лавы далеко вокруг. Зерен подумал, какой бы оглушительный грохот стоял вокруг, если бы в космосе не царил глубокий вакуум, в котором умирает не родившись любой звук.

Время от времени из океанских глубин беспокойной звезды вырывались огненные языки, достигая немалой высоты. Они медленно и величаво опадали, чтобы тут же взметнулись новые.

Скоро зерняне будут выброшены на безжизненные планеты и при-

ступят к делу, которое они проводили уже сотни лет на тысячах небесных тел. Свершится очередной посев, и они взлетят на магнитных подушках, и корабль возвратит их на материнскую планету, где десант будет отдыхать — до нового задания, которое определит Мозг планеты.

И сейчас, пока тело пришельца изнемогало, разбухая от подпочвенной влаги, насыщенной, как он успел уже выяснить, живительными микроэлементами, в памяти всплыла ужасная картина гибели корабля. Штурман, видно, ошибся, проложив курс слишком близко от светила.

Из огненного океана вылетел огромный протуберанец. Он рос и рос, и, казалось, ему не будет конца. Казалось, его верхушка вот-вот прожжет поверхность экрана и выскочит наружу, в командный отсек. Члены экипажа, разных размеров и конфигураций, в зависимости от назначения, застыли на своих местах, словно парализованные необычным зрелищем. Все глаза не отрываясь смотрели на огромную сферу экрана.

Протуберанец переливался всеми цветами радуги, вершина его росла и росла, раздуваясь, словно голова удава. И вдруг, когда напряжение ожидания на корабле стало нестерпимым, голова протуберанца лопнула, взорвалась, как будто была начинена гремучей смесью, разлетевшись на мириады осколков. Один из них и угодил в фотонный парус — это хорошо было видно на обзорном экране. Парус, охваченный адским огнем, тут же вспыхнул и опал, лепестки его скукожились, пламя перебросилось на веретенообразное тело корабля, с которым был сражен капитан. Он и погиб первым, едва распался корпус.

Контейнеры — их было семь, по числу планет — автоматически катапультировались. Но в окрестном пространстве носились пылающие обломки, а десантники пребывали в анабиозе и не могли проявить свою волю, чтобы спастись.

С невыразимой горечью Зерен наблюдал, как хрупкие контейнеры один за другим охватывало пламя и его собратья гибли, безвольно рассыпаясь в клубах огня и дыма. Пробудить их, быстро вызвать из анабиоза не было никакой возможности: чтобы выйти из состояния, граничащего со смертью, требовалось длительное время, а тут теперь счет велся на жалкие доли секунды.

Когда очередь дошла и до его контейнера, Зерен, как и задумал, сосредоточился, представив в памяти планетную систему, которую обрисовал им Мозг перед стартом. Воображение Зерена пленила Третья планета, вокруг которой вращался естественный спутник, все время обращенный к ней одной стороной. И сейчас, пока жадное пламя пожирало прозрачную пленку контейнера, он вызвал в памяти Третью планету, почему-то окрашенную в голубой цвет.

Важно было точно определить время медитации: ведь самостоятельно пробить оболочку контейнера он, естественно, не мог. Слишком рано рванешься — упрешься в непроницаемую стенку, и весь гипнозаряд пропадет. Слишком поздно это сделаешь — погибнешь в пламени вместе с сородичами, погруженными в глубокий сон.

Едва оболочка догорела до середины, Зерен сосредоточился и

вылетел из полуразвалившегося контейнера, словно камешек, которым выстрелили из рогатки.

Ни мгновения не раздумывая — да на это и времени не оставалось, — Зерен ринулся в черные бездны космоса. Гибнущий корабль вскоре остался позади. Место катастрофы превратилось в безобидно тлеющий огонек, который и вовсе пропал в угольной тьме. Осталось позади и желтое мохнатое Солнце, неумоимо продолжающее выбрасывать в пространство шупальца-протуберанцы.

Зерен теперь летел прочь от него, навстречу неизвестности. И немало времени прошло, прежде чем из мрачных глубин, обжигающих его, несмотря на защитную оболочку, космическим холодом, выплыла в голубом сиянии планета, видевшаяся ему в бесчисленных грезах.

Оказалось, планета обладает мощной атмосферой. Впрочем, воздух никогда не служил для него препятствием. Пробив его тысячекилометровый слой, десантник рухнул на раскаленный песок и сумел в него вонзиться, поскольку во время падения инстинктивно держался вертикально. Этот инстинкт был выработан программой обучения десантника: зерно, прежде чем прорасти, должно внедриться в почву, на какой бы планете это ни происходило.

В воронку, которую образовала продолговатая капсула, беззвучно заструился горячий песок, сглаживая внезапно образовавшееся отверстие. Однако Зерен этого уже не видел — от удара он потерял сознание.

Они шли долго. Атагельды вообще потерял счет дням. Снова и снова прорезалась ранним утром узкая полоска на востоке, похожая на пластинку раскаленного металла, которую дед, крикнув, вытаскивал щипцами из пламени и швырял на наковальню.

Проходило короткое время, и алая полоска на горизонте начинала корчиться, меняя форму, словно под ударами невидимого молота, и над горизонтом выплывал красный солнечный шар.

Ночи в пустыне были прохладными, и дед с внуком с вечера до утра дрожали от холода. Они прижимались друг к другу, укрывались всем своим скудным тряпьем в тщетной надежде согреться. Ночью у деда особенно сильно болело надорванное сердце, и он тяжело вздыхал, стараясь не потревожить Атагельды, хотя тот и не спал.

Стоило, однако, взойти солнцу, и картина резко менялась: воздух быстро нагревался, раскалялся песок, вскоре он начинал больно обжигать босые ноги.

Невидимые струи разогретого воздуха, поднимаясь от застывших песчаных волн-барханов, искажали перспективу. И вот уже вдали начинали появляться радужные видения, иногда до жути реальные. И тогда Курбан и Атагельды невольно ускоряли шаг, чтобы поскорее достичь миража.

Как ни странно, но именно миражи больше всего измучивали путников, а не долгий, нелегкий путь. Они не только забирали у путников надежду, но и рушили остатки сил, оставляя после себя холодное отчаяние. Ведь когда видение рассеивалось, стократ тяжелее давался каждый шаг.

Таяли, растворялись в расплавленном мареве пышные кроны деревьев, дающие густую тень, румяные бока сочных плодов, зеркальная поверхность чуть выпуклого водоема, на которой мельтешат солнечные зайчики, — и снова пустыня, и снова песок — куда ни кинь взгляд.

Близ крутой стены бархана Курбан приостановился, сбросил с плеч котомку.

— Опять сердце? — спросил Атагельды, глядя на его посеревшее лицо.

— Кольнуло.

— Сильно?

— Пустое, пройдет. — Курбан попытался улыбнуться и погладил жесткие курчавые волосы внука.

— Может, отойдем отсюда? — Атагельды показал на угрожающую трещину, которая, начинаясь от основания, змеилась до самой вершины песчаного холма. — А то, глядишь, засыплет нас — и косточек не найдут.

— Не бойся, малыш. Этот бархан еще нас переживет, — произнес старый Курбан и, кряхтя, опустился на корточки. Не мог же он, в самом деле, признаться мальцу, что больше не в силах и шагу ступить...

Успокоенный Атагельды опустился рядом. Несколько мгновений они безмолвно наблюдали, как юркая ящерица, взбежав на крохотный бугорок, бесстрашно застыла на месте, разглядывая их блестящими бусинками глаз. Но едва дед, слегка отдышавшись, заговорил, и при первых звуках его голоса ящерица, вильнув, куда-то исчезла.

— Идем уже четвертые сутки, — покачал головой старик, что-то прикинув. — А конца-края не видать...

— Четвертые сутки? — удивился мальчик. — А я думал, добрых две недели. Скажи, а мы скоро придем на место, о котором ты говорил?

— Скоро, парень, скоро. — На сей раз, запустив ладонь в его шевелюру, дед долго не опускал руку. Он искоса бросил испытующий, полный нежности взгляд на Атагельды. Ну как признаешься ему, что потерял дорогу, утратил путеводную нить в этой безотрадной пустыне?

Курбан достал из котомки флягу, взболтнул ею. Воды оставалось на донце, по три-четыре скупых глотка, не больше. Последняя еда — сушеные финики — кончилась вчера. "Значит, здесь и суждено нам погибнуть, — с внезапным спокойствием, рожденным безнадежностью, подумал старик, окидывая взглядом пространство вокруг себя. — Что ж, наугад пустыню не пересечешь..."

Сделав несколько глотков из фляги, мальчик лег на бок, поджал ноги, закрыл глаза от косых лучей солнца, клонящегося к закату, и задремал.

"Итак, конец, — продолжал размышлять Курбан. — Но лучше погибнуть здесь, в пустыне, вольным человеком, чем там, в городе, на кровавой плахе, под топором палача эмира".

— Дед, а за что эмир хотел отрубить тебе голову? — спросил Атагельды, внезапно открывая глаза. Ход их мыслей был настолько одинаков, что старик вздрогнул.

— Прогневал я земного владыку, — вздохнул Курбан, — своей

строптивостью. Попозже расскажу тебе подробно, когда выберемся отсюда.

— Думаешь, выберемся, пересечем пустыню? — по-взрослому спросил Атагельды.

Дед промолчал.

Хотя солнце уплывало в закат, жара медлила, не отпускала.

"Скажу ему всю правду, если он и сам до сих пор не догадался", — с внезапной решимостью подумал Курбан, но посмотрел на Атагельды и осекся: тот снова задремал.

Дед откинулся спиной на стенку бархана, не думая о грозной трещине, грозящей привести в движение многие тонны песка. Глубокие морщины, изрезавшие его лицо, придавали ему сходство с корой старого дерева. Особенно много морщин сосредоточилось на лбу. Выцветшие глаза печально выглядывали из-под сросшихся бровей. Он подложил котомку под локоть, чтобы не так жег песок, и погрузился мыслями в недавнее прошлое.

...Они жили на окраине города, расположенного на скрещении оживленных караванных дорог. Их мазанка приткнулась к огромному караван-сараяу, где днем и ночью былолюдно и шумно: одни приезжали, другие собирались двгаться дальше, далеко окрест разносились крики погонщиков верблюдов, звон медной посуды, крики и ругань носильщиков, степенный говор пышнобородых купцов.

Кузница Курбана располагалась поодаль, у самой дороги, так что дышать приходилось пылью, поднятой бесчисленными копытами. Зато работы, слава аллаху, хватало. Подковать животину нужно всем — и богатому всаднику, гарцующему на снежно-белом арабском жеребце, и бедному дехканину, под которым еле плетется тощий верблюд. Да мало ли кому еще?..

Однажды из караван-сарая за ним приспала богатая госпожа, у которой сломалась повозка, обитая рытой китайской тканью. Она дала ему целый золотой, который старик берег как зеницу ока. Он и сейчас пощупал его в кармане — маленький кружок, нагретый от солнца. Ну и что, разве золото всесильно? Разве спасет оно их от мучительной смерти?

А однажды степенно подъехал к кузнице на заморенном коне старик с белой, как лунь, бородой.

Гость степенно спешил, испросив разрешения, завел коня в тень и первым делом попросил воды не для себя, а для него. Только освободив коня от поклажи, разнуздав его и задав корму, седобородый незнакомец принял из рук Курбана пиалу с ледяной водой из артезианского колодца. О, блаженные времена, когда можно было пить, сколько угодно!..

Они проговорили тогда всю ночь, устроившись во дворе под дырявым навесом. Атагельды давно спал, так и не дождавшись конца их беседы.

Старик, видимо, был устادم — знаменитым придворным поэтом, который услаждал слух эмира. Певец не потрафил ему, и владыка

выгнал старца, лишив всего имущества. Об этом пришелец говорил больше намеками, но Курбан и так без труда представил себе, как вчерашний богач ходит по базару, выискивая клячу подешевле, чтобы хватило на нее горсти медных дирхемов, глухо позвякивающих в кармане.

— Жаль мне твою клячу, устэд, — заметил Курбан, переведя взгляд с собеседника на редкую крышу, сквозь которую просвечивали звезды, спелые, словно гроздьях бухарского винограда. — А тебя жаль еще больше: боюсь, недалеко унесет тебя конь от эмирского гнева.

— Недалеко, говоришь? — загадочно усмехнулся седобородый. — Вот и видно, сынок, что у тебя нет поэтического воображения. (Он так и сказал — "сынок", хотя они, вероятнее всего, были почти одного возраста).

— Да зачем мне оно, воображение? — удивился Курбан и посмотрел на смутный силуэт коня, дремлющего у перевязи. — Наверно, не одна тысяча коней прошла через мою кузню. И я, поверь, неплохо научился разбираться в их статях.

— Тебе это только кажется. — Гость погладил бороду. — А что до воображения, то знай: только оно способно дать человеку крылья.

— Ну, воображай — не воображай, а конь твой — заморенная кляча, и не более того, — упрямо возразил Курбан. — И боюсь, он падет на первой версте, едва ты покинешь город.

— И опять ты не прав, почтенный, — произнес седобородый, и глаза его весело и как-то совсем по-молодому блеснули. — Ежели ты такой знаток, то разве не видишь, что это животное благороднейших арабских кровей? Посмотри на его благородные линии, на густую гриву, на тонкие и сильные ноги! А разве ты не обратил внимания, сколько разума таят его глаза?

В словах устада была такая сила убежденности, что Курбан против воли подумал: чем шайтан не шутит, может, и впрямь конь в прошлом — арабский скакун, только замордованный и заезженный прежними своими хозяевами?.. И ведь в самом деле в больших и печальных глазах коня тлеет некий загадочный огонь.

— Вот-вот, поразмысли над моими словами, сынок, — усмехнулся гость, словно угадав мысли кузнеца, и глотнул из пиалы остывшего зеленого чая. Чай, как всегда, заваривал Атагельды, научившийся этому искусству от покойной матери.

— Вот ты говоришь — воображение, — сказал Курбан. — А зачем оно мне? Нужно ли оно простому человеку?

— Воображение нужно всем, — веско произнес устэд. — Оно способно создать мир, реальный как сама жизнь.

— По мне, лучше уж сама жизнь как она есть, — возразил Курбан.

— А ты не подумал, что, как ты говоришь, сама жизнь есть не более чем воображение? — улыбнулся седобородый. Курбан не понял, однако переспрашивать не стал.

— Поясню свою мысль, — сказал гость и сделал еще глоток. — Хочешь, я изображу коня так, как видится он моему воображению? И ты поймешь, что оно реальнее самой жизни.

— Но как ты нарисуешь его?

— Слушай.

Мастер резким движением отодвинул пиалу с недопитым чаем, едва не расплескав его. Лицо его внезапно побледнело, как показалось Курбану при холодном свете звезд. Он откинулся назад, словно изготавливаясь к прыжку, и, полузакрыв глаза, медленно произнес строки, которые слагал на ходу:

*Не говори, что это конь, —
Скажи, что это сын.
Мой сын, мой порох, мой огонь
И свет моих седин!
Быстрее пули он летит,
Опережая взгляд,
И прах летит из-под копыт,
И в каждом — гром победный скрыт
И молнии горят.
Умерит он твою тоску,
Поймет твои дела,
Газель настигнет на скаку,
Опередит орла,
Гуляет смерчем по песку,
Как тень, нетерпелив,
Но чашу влаги на скаку
Ты выпьешь, не пролив.*

— Ну, понял ты теперь, каков мой конь? — спросил гость после продолжительной паузы.

Ошеломленный кузнец в ответ мог только кивнуть.

О многом они еще говорили, а потом, когда небо перед утром начало светлеть, словно покрываясь изморозью, и остались только самые яркие звезды, которые блистали, словно насечки, сделанные таинственным мастером на просторной, заброшенной ввысь кольчуге, Курбан спросил:

— Скажи, слагатель, как твое имя?

— Зачем тебе?

— Я скажу его внуку.

— Тебе понравились мои строки?

— О, еще бы!

— Вижу, — спокойно кивнул седобородый. — И знаю, что если даже я их забуду, их не забудешь ты. А мое имя... Что ж, оно растворено в этих строчках.

— Жаль мне тебя, — докачал головой кузнец. — На склоне лет, с таким талантом, лишенный имущества, изгнанный и одинокий, ты едешь умирать на чужбину. Ты, словно лепесток, гонимый вихрем по степи.

Устад поднял руку.

— За добрые слова спасибо, — сказал он. — Но человек не может знать свой завтрашний день. Эмир наш капризен и непостоянен. Может,

и на тебя, не приведи аллах, падет гнев его или его приближенных, и тебя тоже вышвырнет отсюда вихрь.

— Я человек маленький.

— Это не меняет дела.

Мог ли думать Курбан, что пророчество слагателя, об имени которого он потом уже, после его отъезда, начал догадываться, так скоро и так страшно исполнится!

Старик осторожно вздохнул, стараясь не расшевелить еще больше непроходящую боль в сердце, и снова потрогал в кармане маленький золотой кружочек. Так и не потратил его. Жаль. Теперь не доведется. Здесь, в пустыне, на него не купишь даже глотка воды. Он взял золото на зуб, полюбовался арабской вязью и сунул его обратно.

Атагельды проснулся, оба поднялись и побрели дальше. Едва они сделали несколько шагов, как песчаный холм позади с громким шумом рухнул, подняв целую тучу пыли.

Время от времени приостанавливаясь, Курбан долго и мучительно соображал, в каком направлении идти. Кругом, куда ни глянь, было одно и то же — однообразная пустыня, похожая на волны застывшей влаги, и над ней — выцветшее от жары небо, лишенное малейших признаков облаков.

— Дед, а чем ты все-таки разгневал эмира? — спросил Атагельды, и старик был рад неожиданному вопросу. Слово за слово, и он рассказал, что произошло во дворе кузницы пять дней назад.

...Поздней ночью, когда Атагельды уже спал, в вечно распахнутые ветхие ворота въехали к навесу два пышно изукрашенных всадника. Один из них подъехал к навесу и ткнул рукояткой камчи Курбана, который прилег на ложе из веток — его как раз схватил сердечный приступ.

— Вставай, лежебока! — сказал всадник.

— Что вам угодно, господин? — вежливо спросил кузнец, приподнимаясь.

— Коня подковать.

Второй всадник остановился поодаль, поигрывая плеткой и молча прислушиваясь к разговору.

— Огонь в горне погас, господин, и разжигать его долго, — ответил старик, сдерживая стон. — Приходите завтра.

— Поднимайся и марш в кузницу, — повысил голос всадник. — И без разговоров!

Курбан покачал головой:

— Не могу, господин.

— Ах, не можешь? — крикнул всадник. — Так я помогу тебе! — И он вытянул Курбана камчой. Острая боль обожгла плечо. "Хорошо, что мальчик спит в доме и ничего не слышит", — мелькнула мысль.

— Мы помощники эмира, и если ты сейчас же не отправишься в кузницу, жалкий червь, тебе не поздоровится, — с угрозой в голосе произнес второй всадник.

— Для меня неважно, кто вы, слуги эмира или последние попро-

шайки, — ответил с достоинством старик. — Если б мог, я бы выполнил работу сейчас. Но это невозможно.

Его ответ привел пришельцев в бешенство, и они в две нагайки принялись хлестать старика. Избив его до полусмерти, они удалились, присовокупив на прощание, чтобы на рассвете он ждал серьезных неприятностей.

В ту же ночь Курбан и Атагельды бежали из города: старик знал, что с эмировыми слугами шутки плохи.

Старик поправил на плечах котомку и замолчал.

— Скажи, дед, разве ты не мог выполнить просьбу двух всадников? — спросил мальчик. — Разбудил бы меня, я бы горн помог разжечь, как всегда...

— Видишь ли, малыш... Я вольный мастер, а не раб эмира. И никогда не плясал под чью бы то ни было дудку.

Мальчик кивнул.

— А куда мы теперь идем? — спросил он.

— Там, за пустыней, мне говорили, есть место, где живут свободные люди, — указал старик вперед. — Там тень вдоль улиц, там журчат фонтаны и бегут полные арыки, там вдоволь воды и там найдется работа для меня.

— Я больше всего люблю слушать, как журчит вода, — задумчиво произнес Атагельды. — Скажи, а мы скоро придем? Пить хочется...

Курбан хотел сказать, что по рассказам знающих людей, которых немало перебывало в кузнице, туда трое суток пути, но вовремя осекся.

— Скоро. Потерпи, малыш, — только и сказал он.

Желтобрюхий варан прополз поодаль и исчез среди песчаных холмов. "Так и мы скоро оба исчезнем", — почти равнодушно подумал старик.

Когда тягостное ощущение, вызванное разбуханием, стало невыносимым, оболочка наконец лопнула, и зеленый росток неудержимо полез вверх, обжигаемый раскаленным песком. С влагой Зерен измучился: в окрестной почве ее не было, и воду приходилось буквально по молекуле вытаскивать снизу, из почвенных глубин. Хорошо хоть, что там она оказалась.

Упорный росток пробил слой песка и выглянул наружу. Нежная кожа его была вся во вмятинах от раскаленных песчинок, но росток обладал немалым запасом жизнестойкости. Кроме того, Зерен все время подпитывал его энергией, аккумулированной еще на материнской планете.

Росток проклюнулся на пологом склоне бархана, почти у самого его подножия. Он дерзко стоял, едва колеблемый горячим ветром, — единственное растение на многие километры вокруг.

Юркий тарбаган надумал подгрызть неведомый стебелек. Однако, едва он приблизился, неведомая сила притормозила зверька, а когда он надумал преодолеть ее — чувствительный разряд пронзил все тело. Коротко пискнув, тарбаган юркнул в нору.

Шли дни, росток упрямо тянулся ввысь. Дождей эта планета — или, по крайней мере, данный участок ее — не ведала, но растение было

неприхотливо и жизнестойко. Довольствуясь токами, которые давали глубоко ушедшие корни, да еще скудной росой, выпадавшей по ночам, оно росло и росло, утверждаясь на неласковой почве, под неласковым светилом.

Чем больше вытягивался росток, тем длиннее становилась и тень, отбрасываемая им. Вскоре показались и листья — плотные, со стреловидным окончанием, похожие на ладошки фикуса. На верхушке растения появилась крохотная завязь.

В один из рассветов неподалеку от одинокого растения показался еще один, совсем маленький росток, затем третий, четвертый...

Чувство удовлетворения от того, что первая задача Великого Посева выполнена, наполняла все естество Зерена.

Хорошо, что он с самого начала не пожалел универсальной энергии, хотя ее оставалось совсем немного для того, чтобы создать вокруг первого ростка защитное облако. В случае гибели первого ростка погиб бы и весь посев, погиб в самом начале, не успев как следует подняться.

Поначалу тень, отбрасываемая растениями, была хилой, представляла собой отдельные сиротливые полоски и пятна. Однако день ото дня они густели, все увереннее соединялись, сливались между собой. И настал день, когда неровный круг тени стал сплошным.

Наступил рассвет, начались пятые сутки пути.

Солнце, следуя извечным своим путем, начало быстро карабкаться к зениту.

Курбан и Атагельды медленно брели, оставляя за собой осыпавшиеся следы.

— Дедушка, я утомился. Песок, что ли, стал глубже? — сказал мальчик и вытер пот, заливающий глаза.

— Будь джигитом, Ата, как твой покойный отец, — ответил старый кузнец. — Нам недолго уже осталось.

— Хочу пить.

Вместо ответа Курбан молча достал флягу, отвинтил крышку, перевернул сосуд и потряс им — ни капли не упало на нагретый песок. После этого он отбросил флягу в сторону. Хорошая вещь, хивинской работы, с узорной росписью. Но фляга, увы, больше не понадобится. С глухим звуком сосуд шлепнулся в песок, полузарившись в него.

Без капли влаги в пустыне недолго протянешь. Мальчик блеснул глазами, но ничего не сказал, и они двинулись дальше.

Незаметно подкрался полдень, и каждый отвесный луч жалил, словно ядовитая гюрза.

Последний час Атагельды шел, словно в забытьи. В этом богом проклятом месте не было ни травинки, только солнце и песок, песок и солнце. Почему человек живет до обидного мало? Почему он вообще должен умереть?!

Увязая по колено в песке, мальчик догнал деда, шедшего немного впереди.

— Дедушка, а человек может быть бессмертным? — негромко спросил он, взяв Курбана за руку.

Кузнец, казалось, не удивился вопросу. Он пытливо посмотрел на Атагельды и, немного подумав, сказал:

— Человек может быть бессмертным. Я, во всяком случае, не вижу в этом ничего необычного.

— Почему же люди умирают?

— На то много причин. Например...

— Не нужно примеров! — живо перебил мальчик. — Ты лучше скажи, как стать бессмертным!

— Клянусь аллахом, хороший вопрос, — улыбка пробежала по лицу старика. — Эх, учиться бы тебе, малыш! Да что теперь говорить...

— Ты не ответил, — напомнил Атагельды.

— Есть священные книги, в которых рассказывается о богах. Было это в древней стране, омываемой полуденным морем. Боги были прекрасны и могучи, и жили они вечно.

— Так то боги, — разочарованно протянул мальчик, — а я спрашиваю о людях.

— Не торопись, — произнес Курбан. — Дело, видишь ли, в том, что эти боги согласно старинным легендам, по сути дела, ничем не отличались от людей. Ну, конечно, покрасивее, посильнее, а в остальном — те же люди. Но вот питались они по-особому, употребляли в пищу амброзию. Думаю, в этой пище и заключена тайна бессмертия.

— Наверно, амброзия — это просто ключевая вода, — вздохнул Атагельды.

Неожиданно старик пошатнулся и тяжело опустился на песок. Когда мальчик приподнял его голову, глаза Курбана были закрыты. Грудь вздымалась медленно, еле заметно. Атагельды опустился перед ним на колени, едва не вскрикнув от боли: впечатление было такое, словно он стал на раскаленную сковородку.

— Дедушка, — тихонько позвал он, взяв Курбана за руку. Тяжелая рука, выскользнув, упала на песок.

Атагельды в отчаянии поднял глаза к небу, и оно показалось ему таким же шершавым и пересохшим от жажды, как его язык и нёбо, алчущие хотя бы глотка воды.

Мальчик нагреб кучу песка, положил деда повыше. Тот что-то проворчал, не открывая глаз.

— Что? — переспросил Атагельды.

— Напейся... Напейся..." — разобрал он только одно слово.

— Ты о чем, дедушка? — спросил мальчик, но Курбан молчал.

Тогда Атагельды решил докопаться до воды. Он принялся яростно копать песок. Тот утекал, словно жидкость, сыпался сквозь пальцы, но это не останавливало мальчика. Он рыл и рыл, несмотря на то, что струйки песка стекали обратно в ямку. Но говорят же люди, что если землю копать глубоко, обязательно доберешься до воды.

Вода, однако, не показывалась, даже песок не становился влажным. И проклятая жара нисколько не спадала. Пожалуй, было даже жарче,

чем в дедовой кузнице, когда там всю пылающую горн. Песок набился под ногти, было больно, но он продолжал копать.

За упорство Атагельды был вознагражден. Через какое-то время песок пусть не стал влажным, но, по крайней мере, холодным. Ата набрал горсть его, с трудом вылез из углубления, подошел к Курбану и приложил к его лбу прохладный песок. Дед на несколько мгновений приоткрыл глаза, в которых мальчику почудилось осмысленное выражение, и снова закрыл их. Спекшиеся губы шевельнулись.

— Напейся... — снова услышал Атагельды.

— Я хотел вырыть колодец, — медленно, по слогам произнес Атагельды, приблизившись к уху Курбана, — но ничего не получилось. Водоносный слой, наверно, залегает слишком глубоко. Даже до влажного песка я не добрался, а только до холодного.

— Ножик... возьми в моей котомке ножик... — прохрипел через силу Курбан.

— Нож? — переспросил мальчик. Ему показалось, что он ослышался. — Зачем он мне?

— Пока я жив... Надрежь мне вену... и напейся крови, — закончил старик.

— Не говори чепухи.

— Слушай меня. И сделай, как я говорю. Мне все равно не жить, с моим-то сердцем. А ты молодой, ты должен жить. Когда напьешься, возьми мою котомку. И еще... в кармане... золотой. И иди на северо-восток. Строго на северо-восток. Я, понимаешь, сбился. Потерял направление.

— Знаю.

— Выйдешь к людам — они не дадут тебе пропасть. Только не говори никому, что ты внук врага эмира.

— Я спасу тебя.

Старик покачал головой:

— Пустое. Лучше не теряй время, ведь с каждой минутой ты слабеешь.

Атагельды схватил деда подмышки и поволок его. Едкий пот заливал глаза. Уже через несколько шагов он выдохся:

— Знаешь, дед, ты полежи спокойно, а я пойду на разведку. Может, хоть тарбагана промыслю. Или, чем шайтан не шутит, воду найду!

Атагельды и сам не верил своим словам. Но речь деда, его страшное предложение привели его в такой ужас, от которого было только одно лекарство — движение, действие, любые усилия, пусть до крайнего изнеможения, тем лучше! Отчаяние придало ему силы.

— Вот-вот, и я говорю, иди на разведку. Да не торопись возвращаться, — согласился Курбан. — Я тебя подожду.

Атагельды с подозрением посмотрел на него, но лицо деда было спокойным.

Одолев крутой хребет сыпучего бархана, Атагельды остановился, вытер тыльной стороной ладони глаза, всмотрелся в даль. Снова мираж, будь он непаден.

В дрожащем мареве высилась небольшая рощица тонких, странных

растений. Больше всего его поразили бледные, необычной формы листья, отчетливо видные. Но что ему до их формы, главное, что они отбрасывали тень. И потом, раз растения, там должна быть и какая-нибудь вода. Однако ни водоема, ни даже самого завалящего арыка Атагельды не разглядел, сколько ни всматривался. "До чего же убогий мираж явила мне в последний раз пустыня, — подумал он. — Видение, право, могло бы быть и побогаче". Может, он и не думал такими словами, но суть его размышлений была именно такова.

Он решил идти до тех пор, пока мираж рассеется, а там будь что будет. Однако, странное дело, по мере продвижения мальчика видение не тускнело, не исчезало. Наоборот, становилось все более отчетливым. Но понадобилось немало времени, прежде чем Атагельды убедился, что рошица существует на самом деле.

Удивительные растения! Прежде он никогда таких не видел. Самое высокое из них, стоящее в центре рошицы, было ему по плечо. Хотя ветра не было, все растения слабо покачивались, как будто связанные невидимой нитью. "Словно все они братья", — подумал Атагельды. Казалось, растения приветствуют его.

Осторожно переступая, чтобы ненароком не задеть какой-нибудь из стеблей, он подошел к самому высокому растению. Листья, словно выделанные из бледно-зеленой кожи, были покрыты мельчайшими ворсинками. Стебель, вот уж совсем чудное, просто невысказанное дело, оказался полупрозрачным, словно это была струя застывшего стекла. Он долго смотрел на таинственные, крохотные, с булавочную головку пузырьки, одни из них карабкались наверх, другие торопились вниз. Там же, в глубине стебля, внимательно вглядевшись, можно было различить тончайшие разноцветные нити — может быть, токи различных жидкостей?

Все это походило на чудо.

Позабыв обо всем на свете, Атагельды рассматривал странную карликовую рошицу, бог весть каким чудом возникшую в пустыне. Листья на вид казались сочными, мясистыми. Сорвать один, пожевать, может, хоть немного утолит жажду? Он протянул руку к центральному стеблю, но она уперлась в невидимую преграду. Словно упругая пленка остановила ее движение. Что за чертовщина!

В полном недоумении он зачем-то огляделся. Все так же безмятежно сияло небо, шествовало своим путем солнце, вокруг, насколько хватало глаз, лежали изжелта-белые пески. И только вокруг него боязливо сгрудилась маленькая стайка ветвей неизвестного растения.

Он снова попытался протянуть руку к одному из листьев, и неведомая сила ее отбросила. Тогда Атагельды обратил внимание на чашечку, которой был увенчан самый высокий стебель. Чаша качнулась, и в ней что-то блеснуло. Влага... Неужели вода?! Пригубить бы, только пригубить.

Он осторожно, опасаясь подвоха, наклонился к чаше. Но ничто не воспрепятствовало этому движению. Казалось, растение почувствовало, что мальчик не собирает принести ему никакого вреда.

Да, в чашечке оказалась вода. Тепловатая, с каким-то сладким при-

вкусом, но чистая. И было ее совсем немного — может быть, с четверть пиалушки.

Едва начав пить, Атагельды вспомнил про деда, оставшегося в песках, и с трудом оторвался от цветочной чаши. Как принести ему остатки воды? Посуды с собой не было. Фляжка, выброшенная Курбаном, осталась среди песков, теперь ее, наверно, не отыщешь.

Сгоряча он решил оторвать чашечку от верхушки растения, чтобы отнести ее деду. Однако, получив в протянутую руку чувствительный разряд, отказался от своей затеи.

Растение не только само по себе было странным, но и вело себя в высшей степени странно, словно строптивый жеребенок: оно то подпускало к себе Атагельды, то как бы отталкивало его.

Раздумывать, однако, было некогда. Ата стащил с головы выцветшую тюбетейку и не без опаски сделал шаг к стеблю, увенчанному чашечкой, полуприкрытой лепестками. Никакого противодействия, однако, на этот раз не последовало.

Атагельды осторожно, бережно раздвинул снова лепестки, окаймляющие чашу, и опустил туда тюбетейку, ожидая, пока она впитает влагу. Наконец тюбетейка намокла, жидкости оставалось на самом донце. Он допил ее и двинулся в обратный путь, сунув влажную тюбетейку за пазуху и моля бога об одном: чтобы она не высохла до того момента, как он доберется до Курбана.

Путь назад оказался еще более тяжелым. Атагельды несколько раз оглядывался, словно боялся, что растения исчезнут. Но они оставались на месте, все так же покачиваясь в лад. Теперь они, казалось, провожали мальчика.

Мокрый ком тюбетейки приятно охлаждал грудь. Время от времени Атагельды совал руку за пазуху: нет, плотная ткань оставалась влажной.

Курбан был в том же положении, в котором его оставил мальчик. Глаза его были прикрыты, а грудь вздымалась так редко и слабо, что в первую минуту показалось — старый кузнец не дышит.

Атагельды стал на колени, потряс деда за плечо. Тот открыл глаза:

— Ты? Разве ты не ушел?

— Я ходил на разведку. Нашел местечко, где есть тень и немного воды...

Не дослушав, Курбан снова закрыл глаза. Зубы его были плотно сжаты, Атагельды никак не удавалось расцепить их. Тогда он достал из дедовой котомки нож и воспользовался им — маленьким стальным рычагом.

— Вену... режь вену... — пробормотал Курбан, на несколько мгновений открыв глаза.

Атагельды выдавил из тюбетейки в пересохшую щель рта несколько капель воды. Старик зачмокал, сделал судорожный глоток и посмотрел на мальчика:

— Сладкая? Где ты взял сладкую воду, Атагельды? Или, может быть, я брежу?..

Мальчик заботливо приложил ему ко лбу свою выжатую тюбетейку,

все еще странным образом хранившую прохладу, и рассказал о путешествии, увенчавшемся находкой.

— Мне стало полегче, клянусь, — пробормотал старик и сел повыше. — Даже от сердца отлегло. Но послушай, тебе не померещилось все это? — посмотрел он недоверчиво на внука.

— А вода, по-твоему, откуда? — возразил Атагельды.

— Верно, верно, это вода, хотя и сладковатая, — согласился Курбан. — Будь это кровь, она была бы соленой... Но сколько на белом свете живу, о таких чудесах не слыхивал: одинокое растение среди пустыни сохраняет воду, да еще днем, в самый зной.

— Несколько растений.

— Все равно.

— Если ты не слыхал, это еще не значит, что такого не бывает. — Атагельды начал терять терпение.

— Ты прав, Ата, — согласился Курбан и кряхтя поднялся с земли, собрал свои скудные пожитки и добавил: — Ну, пошли, что ли. Показывай, где там твой рай земной.

Путь к растениям отыскать было нетрудно — песок еще не успел занести следы Атагельды.

Когда они добрались до цели, Курбан долго стоял перед купой одинаковых, только разного роста растений, затем задумчиво произнес:

— И верно, Атагельды, это не мираж. Отродясь не видал таких растений. Одно небо ведает, каким ветром их сюда занесло. В тени мы сможем переждать полуденные часы, отдохнуть, поднабраться сил, а потом...

— Смотри! — перебил его мальчик.

— Что?

— Вода!

Острый взгляд Атагельды углядел, как в чашечке самого высокого растения, обрамленной мохнатыми листьями, тускло блеснула жидкость. За то время пока он отсутствовал, чаша успела наполниться снова... На сей раз они утолили жажду. Живительная влага возродила силы, и даже жара, показалось, пошла немного на убыль.

— Отдохнем здесь денек-другой, да и двинемся дальше, — произнес Курбан, когда они расположились в тени.

— Но ты ведь направление потерял!

Старик промолчал.

— И потом, без воды мы здесь не пропадем, а вот что есть будем? — продолжал Атагельды.

— Видишь, на этих растениях есть завязь, — сказал Курбан, показывая на небольшие зеленые шишки, расположенные кое-где у основания листьев. — Может быть, эти плоды съедобны?

Ата пожал плечами. Что там говорить, после того как он утолил жажду, есть захотелось невыносимо. Но боязно было отравиться неведомым плодом, о чем он и сказал деду: вдруг эти зеленые шишки действуют похлеще мухомора?

— Я и сам, голубчик, это понимаю, — уныло согласился Курбан и вздохнул.

Атагельды встревожился:

— Опять сердце?

— Нет, сердце меня совсем перестало беспокоить, — сказал старый кузнец и впервые за пять дней улыбнулся.

— Дедушка, а что мы завтра будем делать?

— Посмотрим. Утро вечера мудренее.

Они лежали под открытым небом, ничем не защищенные от пустыни, которая обступила их со всех сторон, жарко дыша. Зато звезды над ними были точь-в-точь такие, как над двором старой кузницы. Между ними тянулись ввысь хрупкие стебли, от которых, казалось, исходило дружественное спокойствие.

И ночь провели они спокойно, хотя издали доносился заунывный вой шакалов. Обоим добровольным изгнанникам чудилось, что какая-то добрая сила стережет их сон.

Назавтра Курбан и Атагельды нашли в себе силы соорудить силки, в которые попался жирный тарбаган, так что призрак голодной смерти от них отодвинулся.

— Мне нравится в этом оазисе, — объявил однажды Атагельды, когда они сидели в тени растений.

— Какой же это оазис, если нет ни водоема, ни арыка? — возразил дед.

— А чаша цветка? Пусть она не глубока, но все время наполняется влагой.

— Верно, от жажды не помрешь.

— Как ты думаешь, дед, что это за жидкость? По-моему, это не вода.

— А что же?

— Не знаю.

— Может быть, сок растения? — высказал предположение старый кузнец, прерывая долгую паузу. — Но какая нам разница? Только бы цветок не отказался нас поить!

Силки, на которые было затрачено столько усилий, подвели: на следующий день они были пусты, несмотря на хорошую приманку, оставленную Атагельды. Всякая живность по непонятной причине старательно обходила западню. И новый день не принес никаких изменений.

Употреблять в пищу завязь растений дед и внук не рискнули.

Зелень росла быстро, не по дням, а по часам. Если сначала самое высокое растение, возвышавшееся в центре маленькой зеленой колонии, едва достигало плеча Атагельды, то теперь они сравнялись в росте. Прежде мальчику приходилось немного нагибаться, чтобы достать влагу из чаши цветка, а теперь он, наоборот, пригибал чашу ко рту. Сначала он делал это с опаской, но сторонняя сила ни разу его не отталкивала. Уж не пригрезилась ли она Атагельды?

Итак, силки пустовали, голод заставил их снова потуже затянуть пояса, и однажды мальчик сказал:

— Мы уже отдохнули. Пора в путь.

И Курбану скрепя сердце пришлось с ним согласиться. Однако их

выход из маленького оазиса оказался непродолжительным и едва не окончился трагически.

Растения еще не успели скрыться из виду, как что-то в воздухе неуловимо изменилось. Началось с того, что тело Курбана и Атагельды начало легко покалывать, словно тысячью иголок. Покалывание перешло в нестерпимый зуд. Оба яростно почесывались, хотя никаких видимых причин для этого не было. Расчесы оставляли на теле следы, но зуд не проходил.

Впрочем, по мере удаления от оазиса зуд начал слабеть, но тут случилась новая напасть: поднялся ветер, которого дотоле не было и в помине. С минуты на минуту он усиливался, что при открытых песчаных пространствах предвещало большие неприятности.

— Что будем делать, дедушка? — спросил Атагельды, остановившись. Песчинки больно секли лицо, в воздухе стоял тонкий звук, вызванный трением мириадов песчинок друг о друга.

Прежде чем ответить, Курбан внимательно оглядел небо, которое оставалось безмятежным. Старик, честно говоря, недоумевал: резкий ветер поставил его в тупик.

— Будет самум? — с тревогой спросил Атагельды.

Курбан пожал плечами.

— Видишь ли, малыш, самому должны предшествовать определенные изменения на небе, — произнес он. — Они еле заметны порой, но я хорошо изучил их за долгую жизнь. А сейчас, видишь? — показал он рукой наверх. — Нет даже легчайшего облачного налета, небо чистое. Или мои глаза обманывают меня?

— Нет, в небе ни облачка, — подтвердил Атагельды, запрокинувший голову.

— Я не могу понять, откуда взялся этот ветер, — признался старик. — Мне кажется, это какой-то шальной вихрь, он должен убраться.

Действительность, однако, не подтверждала столь оптимистического вывода: ветер с каждой минутой усиливался.

— Если ветер закружит, поднимет вихри, нам придется несладко, — покачал головой Курбан.

К счастью, ветер пока дул в одном направлении — бил в лицо. Он достиг определенной силы и, похоже, слабеть не собирался.

Они стали спиной к ветру, и, пока совещались, вокруг каждого успел образоваться песчаный холмик.

— Идти дальше опасно, — решил Курбан. — Нужно возвращаться, пока не поздно.

Несколько шагов они сделали в молчании.

Ветер дул в спину, идти стало легче, но все равно из-за вездесущих песчинок не то что переговариваться — даже дышать было трудно. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась однообразная пустыня, заштрихованная косыми траекториями песчинок.

— Послушай, а мы правильно идем? — спросил внезапно обеспокоенный Курбан.

— Ищи наши следы, только и всего, — откликнулся беспечно Атагельды.



Рисунки Левона ХАЧАТРЯНА

- Наши следы давно занесло.
- Ну и что! — воскликнул мальчик. — У нас остался еще один хороший ориентир.
- Что ты имеешь в виду?
- Ветер! Он ведь как поднялся, так и не менял направления, — сказал Атагельды.
- Ты уверен?
- Конечно. Он дул нам все время в лицо, словно хотел заставить, чтобы мы вернулись в оазис.
- А ты молодец, дружок. Головка работает, — похвалил старый кузнец. — Я и сам бы до этого додумался, только подрастерялся малость, — добавил он.

Шло время, но растения оазиса не показывались. Курбан уже забеспокоился, когда они оба почти одновременно увидели светло-зеленые верхушки, едва выглядывающие из песчаных холмов. Ветер к этому времени утих так же внезапно, как начался.

— Беда, да и только, — поцокал языком Курбан, разглядывая занесенный песком оазис. — Попробуем раскопать...

— Дед, посмотри, они сражались с песком! — воскликнул Атагельды, указывая на растения.

В самом деле, каждое растение находилось в углублении, окруженное песчаным барьером.

Они принялись отбрасывать песок от стеблей. Достаточно было только его подбросить, и песок летел в сторону, словно отбрасываемый растением. Трудились долго, поскольку растений было с десяток, не меньше.

- Отдохнем немного, — предложил Курбан.
- Сердце?
- Нет, сердце эти дни меня не беспокоит. Просто устал я немного...
- Потерпи, дедушка. Давай сначала освободим от песка все растения, потом будем отдыхать. А то они могут задохнуться.
- Задохнуться? — удивился Курбан. — С чего ты взял?
- Мне так кажется, — уклончиво ответил Атагельды, снова принимаясь за работу. Не мог же он, в самом деле, сказать деду о смутном видении, мелькнувшем в его мозгу? Расплывчатый образ существа, которое задыхается от удушья...

Наконец работа была закончена. Маленький оазис был очищен от песка. Растения, как и прежде, едва колебались в лад, хотя вокруг царило полное безветрие. Чашечка, совсем небольшая, появилась на верхушке еще одного растения. А завязь под листьями, сулящая плоды, стала вроде покрупнее — или это им только показалось?

— Это — твоя, — указал на вторую чашечку Курбан, а сам направился к первой.

...Атагельды совсем не удивился, когда обнаружил под плотными, кожистыми лепестками сладковатую, прохладную жидкость. Он выпил ее всю, отчего сразу прибавилось сил.

После этого происшествия Атагельды с Курбаном ни разу не пытались покинуть оазис.

Когда плоды созрели, они решились их отведать и не пожалели: плоды оказались сочными и на удивление сытными. Правда, вкус их был непривычен, но выбирать не приходилось. Определить, что это за плоды, старый Курбан не мог: встречать такие ему прежде не доводилось.

С появлением второй чаши влаги им хватало, оставалось даже на чай. Запасливый Курбан всегда держал во фляге небольшой запас, он собирал туда воду, которую они не успели выпить за день. Стоило цветочную чашу опорожнить, как она через некоторое время снова наполнялась.

* * *

"...Наконец-то удалось пробить слой песка, и росток начал тянуться вверх. Когда он достиг необходимой высоты, я смог приступить к круговым наблюдениям.

Картина безотрадная. Всколмленная песчаная пустыня. Таким образом, беглые наблюдения, сделанные мной во время свободного падения, подтвердились, к сожалению.

Неужели вся планета лишена жизни? Неужели не ведает она ни растений, ни животных? Похоже, что так, и соображения наших ученых не подтвердились.

Если так, то космическая судьба предоставила мне удивительный шанс — будучи в единственном числе, без собратьев, попытаться озеленить целую планету. Сумею ли? Во всяком случае обязан попытаться.

Жаль только, что модифицировать растения — вне моих возможностей. Что ж, пусть лучше покрывают пустыню растения одного вида, чем останется пустыня, лишенная каких бы то ни было растений".

"Песчаный слой толст. С величайшим трудом корень, пробивая почву, добрался наконец до водоносного слоя.

— Зерен, — донесся до меня сигнал, посланный корнем, — можешь прекратить синтез молекул воды, необходимой для твоего питания, и готовься получать жидкость, рождаемую почвой этой планеты.

Произвел экспресс-анализ, жидкость оказалась богатой на удивительные соли и соединения. Странно, что при такой почвенной воде на планете нет зелени. Может, была, но песок уничтожил ее? Не буду, впрочем, торопиться с поспешными выводами: тот, кто совершает Великий Посев, делать этого не должен.

...Сегодня великий день. Радостный и одновременно тревожный. Радостный — потому что я впервые обнаружил в окрестности живое существо. На всякий случай зафиксирую в памяти информацию. Обладает оно четырьмя конечностями. Передвигается на двух задних, и довольно неуклюже.

Долгое время не мог понять, обладает ли оно хотя бы начатками разума или действует, подчиняясь только инстинктам.

При виде растений существо выразило удивление: лишнее под-

тверждение тому, что планета лишена растительного царства.

Сразу установил односторонний биоконтакт, чтобы вызвать намерения существа. Оно двинулось ко мне с желанием сорвать лист, что могло бы повредить стебель, еще не окрепший. Пришлось наскоро выбросить защитное силовое поле. Существо удалось отпугнуть.

Существо в испуге отступило; и в этот момент мне стало ясно, что оно сильно страдает от жажды. Я сильнее покачивал чашей цветка. Существо, видимо, опасаясь подвоха, снова боязливо приблизилось. Я рассеял силовое поле и постарался передать об этом мыслеграмму существу. Не знаю, дошла ли она, но существо наклонилось к чаше и, раздвинув лепестки, начало пить. Не допив, подняло голову.

Дальнейшие его действия отличались загадочностью. Сначала оно решило было оторвать чашечку от стебля — ту самую чашу, которая напоила его, спасла от смертельной жажды! Ясно, что оно было лишено разума. Я едва успел включить защитный разряд. Получив чувствительный удар в переднюю конечность, существо отпрянуло. А затем повело себя еще более загадочно. Отделило от головы некую оболочку — я так и не разобрался, естественное это покрытие или нет, — и погрузило ее в чашу цветка, где на донце оставалось еще немного влаги.

Поскольку действия существа на этот раз были осторожны, а движения бережны, я рискнул и снял защиту.

Когда оболочка набухла, существо спрятало ее у себя на груди и удалилось.

Когда существо исчезло из зоны видимости, я попытался привести в порядок только что полученную информацию. К моей радости, вызванной тем, что на планете обнаружилось живое существо, прибавилась тревога за собственную безопасность. Ведь убежать, как и вообще передвигаться, я не могу. Все время держать включенным защитное поле тоже невозможно — запасов энергии не хватит. Если здесь есть живые существа, они могут повредить центральный ствол, и тогда вся зеленая колония погибнет.

Пока я размышлял, передо мной снова появилось прежнее существо, а с ним еще одно. Оно было той же породы, но гораздо старше, я понял это с первого взгляда.

Есть мои плоды они побоялись, да, честно говоря, они к тому времени еще не созрели. Так или иначе, жажду они утолили, а потом устроились на ночлег прямо посреди колонии. Мое биополе подействовало на них благотворно, и они быстро уснули.

По неравному дыханию и другим признакам я понял, что у старика больное сердце. Микроэлементы, растворенные в нектаре, должны были ему помочь, возможно, не сразу.

А пока я занялся изучением биологической природы этих двух существ. Тело их было покрыто оболочкой, похоже, искусственного происхождения. Это признак разума или хотя бы его начатков. В пользу этой точки зрения говорило и то, что у них имелись примитивные орудия: сосуд для жидкости и еще одна вещь, о которой скажу позже.

Сосуд был достаточно сложный, с завинчивающейся крышкой,

создающей герметичность. Но главное — мне показалось, что сосуд украшен письменами. Если это так, то существа в умственном отношении стоят гораздо выше, чем я предположил поначалу. Впрочем, возможно, что сосуд этот принадлежит другой расе, а они его нашли на стороне, не имея к письменам ни малейшего отношения: такие случаи, я знаю, бывали на других планетах. Так или иначе, в этом предстояло разобраться.

Вторая вещь, которая у них находилась, вызвала мое беспокойство. Она представляла собой узкую стальную полосу, с одной стороны остро заточенную. Полоса была для удобства снабжена рукояткой, и оба существа довольно ловко пользовались этим орудием.

Один удар такой полоски может погубить центральный стебель, а с ним и всю колонию”.

”Пытаюсь воздействовать внушением, однако пока в биоконтакт удалось вступить только с более молодым индивидом”.

”...Существа — разумны, другое дело — какой ступени их разум. Обмениваются акустическими сигналами. Зовут друг друга сложными именами, пока не могу их воспроизвести.

Тела их в значительной степени состоят из жидкости, вода — основа жизненной активности. Двух цветочных чаш для них хватает, поэтому новых не выбрасывают”.

”Немало усилий пришлось затратить, чтобы раздобыть для них из почвы оптимальное количество жидкости. Пришлось расширить корневую систему. Это, впрочем, все равно необходимо для предстоящего расширения колонии”.

* * *

Прошел месяц жизни в оазисе.

За это время колония стеблей приметно разрослась. Стебли один за другим вылезали из-под песчаного покрова в каком-то им одним ведомом порядке. И тут же начинали тянуться ввысь под жарким солнцем пустыни.

Издали рощица напоминала светло-зеленую пирамиду. В центре — самый высокий и толстый стебель, а вокруг него концентрическими кругами располагались остальные, постепенно понижаясь до самых маленьких, которые только вчера вылупились из песка.

Высота центрального стебля перевалила за два метра, и он продолжал расти. Теперь, чтобы напиться либо набрать во флягу жидкости, Курбану приходилось нагибать полупрозрачный стебель. Тот гнулся, но не ломался.

Листва, сплетаясь, давала густую тень, днем в жару это было настоящее спасение. Да и ночью отдыхать в ней было неплохо — едва войдешь, раздвигая руками стебли, и сразу тебя охватит чувство уверенности и покоя.

— Может, это порода бамбука такая? — сказал однажды Атагельды, в который раз рассматривая заматеревший ствол главного стебля.

Старик потрогал пальцем сочленение.

— Никогда не встречал бамбука, прозрачного, как стекло, — покачал он головой.

Там, под кожистой оболочкой, шла, как всегда, чужая, непонятная жизнь: торопились, обгоняя друг друга, разноцветные пузырьки воздуха, сталкивались, сливались, тянулись бесконечные нити...

Вдвоем они с трудом наклонили ствол, после чего поочередно напились из чаши.

— Словно амброзии отведал, — сказал Курбан, вытирая ладонью губы.

— Это той, что бессмертие богам давала? — откликнулся Атагельды.

— Не знаю, как там насчет бессмертия, — хитро сощурился старый вознец, — но от этой водички я чувствую себя лучше, это точно.

Как-то они пролили немного жидкости из чаши на песок. Жидкость долго не впитывалась в почву, несколько дней лежала темным бархатистым пятном. Курбан трогал его пальцем, что-то бормоча, пока пятно не просохло.

Странными были не только полупрозрачные стволы, но и листья — плотные, кожистые, похожие на добрые лапы неведомого чудища. Памятуя давний опыт, Атагельды не пытался их обрывать. Но однажды, проснувшись утром, он обнаружил под ногами опавший лист. Слегка пожелтевший, с выступившими синими прожилками, он казался еще крупнее, чем на стебле.

Подошел Курбан, и они вдвоем несколько минут разглядывали это маленькое чудо.

— Поверхность словно кожа, — заметил Атагельды, поглаживая лист.

— Никакой мастер так кожу не выделает, — покачал головой Курбан.

Потом, когда листья опало достаточно, они соорудили из них хижину. Теперь было где ночью укрыться от холода.

* * *

”Обнаружил и еще живые существа — небольшие, юркие, четвероногие, покрытые шерстью”.

”Разумных, однако, только два. Они соорудили из опавших листьев временное жилище, используя в качестве каркаса несколько молодых моих побегов. Признаюсь, я опасался, что они повредят их, но существа с честью выдержали эту проверку на разумность”.

”С некоторых пор одна мысль не дает мне покоя: неужели, кроме этих двух, на планете больше нет разумных существ? Ответить на этот вопрос непросто, ведь я лишен возможности передвигаться. Потому остается только одно: изучить как можно глубже две данные особи, вникнуть в их образ жизни, распознать акустические сигналы, которыми они регулярно обмениваются. Не исключено, что это речь, состоящая из множества слов.

Нетрудно представить мое отчаяние, когда оба существа вдруг надумали покинуть оазис!

Не знаю, разумеется, какая цель их влекла, но мне пришлось при-

ложить все усилия, чтобы возратить их. На их пути я создал перепад потенциалов, который вызвал сильный встречный ветер.

Они возвратились, но и я едва не погиб: ветер намет вокруг колонии такую гору песка, что я едва не задохнулся. Но тут они оба пришли мне на помощь, разбросав песчаные барьеры.

Начал различать отдельные звуки-слова, но смысл многих из них для меня пока неясен...”

* * *

Однажды, выйдя на край оазиса, Курбан заметил на горизонте небольшое облачко. Оно возникло вдали, на стороне, противоположной той, с которой они пришли.

Курбан долго вглядывался, затем позвал Атагельды.

— Посмотри, что это, у тебя глаза молодые.

— Может, песчаная буря начинается? — высказал предположение мальчик. — Нужно стены хижины укрепить.

— На бурю не похоже, — покачал головой старик. — Видишь, верушки барханов не дымятся. Да и ветра совсем нет.

— Мираж?

— И на мираж не похоже.

— Значит, просто туча пыли.

— Точно. Караван движется.

— В нашу сторону? — хлопнул в ладоши Атагельды.

— В нашу, малыш, — кивнул Курбан, но радости в его голосе не было.

Через некоторое время показался небольшой караван, который двигался в сторону оазиса. Пожалуй, караван — слишком громко сказано. Несколько полудохлых верблюдов еле плелись, понукаемые худыми, оборванными людьми. Даже вид зеленого оазиса не зажег в их глазах особой радости.

Кто бы это мог быть? Купцы? Не похоже. Уж слишком тощие хурджины покоятся на верблюжьих боках. Да и в людях не чувствуется купеческой степенности.

Впереди каравана шел горбоносый человек с потемневшим лицом. Он волочил за собой по песку бич. Скользя безразличным взглядом по Курбану и Атагельды, вышедшим на край оазиса, он крикнул гортанным голосом:

— Привал! — и щелкнул бичом, подняв продолговатое облачко песка.

Видно, его привыкли слушаться. Дети, изнуренные долгим путем, сбились в кучу, ожидая дальнейших приказаний. Погонщики остались подле животных.

— Груз снимать, Ахметхан? — почтительно обратился к нему старик, держащий на поводу усталого коня.

— Снимайте! — решил Ахметхан. — Мы здесь остановимся. Тут есть тень, а значит, должна быть и вода.

Только теперь он обратил внимание на Курбана и Атагельды и, все так же волоча бич, приблизился к ним.

— Откуда в пустыне бамбук? — спросил он. — Это вы его вырастили?

— Это вовсе не... — начал Курбан, но Атагельды перебил его:

— А ты видел, Ахметхан, на бамбуке такие листья? — и он поднял с песка пожелтевшее кожистое чудо с синими прожилками.

Горбоносый первел тяжелый взгляд на мальчика, затем взял лист и долго рассматривал его, вертя так и этак.

— Из такого материала впору сапоги для эмира тачать, — заметил он.

— Мы из этих листьев хижину собрали, — вступил в разговор Курбан.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что караван Ахметхана держал путь как раз из того места, куда мечтал добраться старый кузнец. И там так же худо, как в городе, который они с Атагельды покинули.

Освоившиеся дети с визгом носились по песку, взрослые приводили в порядок поклажу. Все запасы воды, которые удалось накопить Атагельды и Курбану, были уничтожены так же, как и запасы созревших плодов.

Вертлявый мальчишка с перевязанной щекой подбежал к центральному стеблю и тут же с визгом отскочил от него.

— Анартай! — прикрикнул на сына горбоносый. — Занимайся делом.

— Отец, оно дерется! — заверещал Анартай.

— А я еще добавлю, — проворчал Ахметхан, не вникнув в суть дела.

Вечер скоротали у костра, в который пошли пересохшие листья.

— Жалко жечь такое добро, — вздохнул старик, разглядывая лист, корчащийся в огне. Листья давали ровное и жаркое пламя, они горели лучше любых дров. Синие прожилки, расплавляясь, превращались в ослепительно сверкающие голубые шарики, похожие на драгоценные камни. От них летели во все стороны веселые стрелки огня.

— Сделать бы ожерелье из таких камней, — произнесла женщина, которая не отрываясь глядела в огонь.

Анартай захохотал:

— Шею сожжешь!

Сидя на отшибе, он размотал повязку. Курбан глянул и ужаснулся: щеку мальчика обезобразивала ужасная язва. Кузнец переглянулся с Атагельды. "Неужели проказа?" — подумал Курбан, инстинктивно отодвигаясь от Анартая. Тот беспечно подбросил несколько листьев в огонь, затем снова замотал щеку.

Старик, ехавший в караване на коне, стреножил его, предварительно покормив остатками овса. Конь, подбрасывая ноги, приблизился к хозяину и остановился позади него, фыркая и косясь на огонь умным глазом.

Конь вызвал общее оживление. Посыпались реплики, смысл которых был в том, что конь для старика — самое близкое и родное существо. Старик отбивался как мог, жалко улыбаясь, а когда наступило затишье, Курбан негромко произнес:

*Не говори, что это конь, —
Скажи, что это сын.
Мой сын, мой порох, мой огонь
И свет моих седин...*

— Чьи это слова? — воскликнул старик, едва Курбан умолк. — Я их не слышал.

— Эти строки сочинил один мой знакомый. — осторожно ответил Курбан.

— Кто, скажи?

— Я забыл его имя.

— Боже мой, такие стихи может сочинить только единственный человек в подлунном мире, — как бы про себя произнес старик, покачивая головой. — Я все его газели знаю наизусть. И всю жизнь мечтал хоть одним глазком поглядеть на него. Да, видно, не судьба.

Курбан, глядя на старика, хотел что-то сказать, но сдержался.

Огонь догорел, и только синие угольки нездешне светились в серой золе.

— Поздно, — сказал караванбаши и резко поднялся. — Сейчас всем спать. Завтра с утра будем складывать хижины. Вот такие, как у них, — кивнул он на Курбана и Атагельды.

Прибывшие с караваном уснули быстро. Легли они как попало, накрывшись тряпьем. "Словно трупы", — подумал Курбан и сам ужаснулся своему сравнению. Атагельды шел с ним рядом, словно во сне. В голове теснились непонятные образы. Зерно набухало в почве и лопалось, давая росток. Какое-то устройство летело в черном пространстве и вдруг жарко вспыхивало, распадаясь на части. Идя рядом с дедом, мальчик почувствовал, что неведомая сила пытается взять в полон его сознание. Но он усилием воли сумел отторгнуть ее.

— Не отставай, — сказал Курбан. — Э, да ты спишь на ходу. Ахметхан прав, уже поздно.

* * *

"...Сколько же времени потребуется, чтобы мне одному покрыть растительностью пустыню? А может, и впрямь вся планета засыпана безжизненным песком? В этом случае мне понадобятся столетия, если пользоваться мерой времени, задаваемой скоростью вращения данной планеты".

"Ну, что ж, временем я не ограничен. В любом случае я пленник Земли. Только бы запаса энергии хватило да никакая случайность не погубила моего существования".

"Пытаюсь наладить биоконтакт с двуногими особями, количество которых четыре дня назад резко увеличилось. Пока удалось упрочить связь только с молодым существом, которое отзывается на кличку Атагельды".

"Великий Посев — задача, ради выполнения которой годятся любые средства.

Если мои ростки со временем покроют планету, это изменит состав атмосферы. Я произвел химические выкладки, которые это доказывают. Тогда, может быть, здесь сможет существовать раса по-настоящему разумных существ, а не этих странных двуногих, находящихся на низкой ступени развития. Об этом говорит хотя бы то, что они постоянно друг с другом враждуют — до прихода каравана я этого, правда, не замечал. Они не умеют избавляться от собственных болезней. Передвигаются неуклюже, да и то только по поверхности, в двухмерном пространстве. Летать неспособны.

Действия их не поддаются анализу, мысли хаотичны и сумбурны. Наконец, они не вступают в биоконтакт”.

”В общем такой расой как переходной не жалко пожертвовать во имя будущей, высокоразумной. Впрочем, это вопрос будущего”.

”Пока самая острая проблема — влага для пришельцев. Для двоих воды, которую я набирал в чаши, хватало. Теперь ее явно недостаточно.

Двуногие уже вступают за воду в кровавые раздоры. Что же будет дальше?”

”Я мог бы увеличить количество чаш на верхушках стеблей, но это не решает проблемы. Дело в том, что тот водоносный слой, которого способна достичь моя корневая система, может скоро иссякнуть. И тогда все существа, которые остались в оазисе, будут обречены, если только не решатся на длительный и опасный путь в другие места, неведомые мне”.

”Выход вижу только один: внушить через Атагельды всем остальным мысль о необходимости, как это ни трудно, пробить глубокую вертикальную скважину, чтобы добраться до воды. А я уж с помощью корневой системы поддержку в ней уровень влаги, если это будет необходимо”.

* * *

Жизнь в оазисе стала кошмарной. Скучные запасы воды пытались делить так и этак, но ее все равно не хватало.

На общей сходке Ахметхан сказал:

— Вода нужна для самых сильных. Того, что дают эти ветки шайтана, хватит только по половине глотка. Лучше пусть выживет часть, чем погибнут все.

Ответом ему было гробовое молчание. Даже Анартай притих, с испугом глядя на отца. Потом тишина взорвалась, заголосили женщины, заплакали дети.

— Пока растения выбросили только две цветочные чаши, — начал Курбан, и взгляды обратились на него. — А стеблей уже вон сколько, поглядите! Когда мы с Атагельды пришли сюда, их было всего несколько штук, а теперь — целый зеленый остров. А теперь — целый зеленый остров! — повторил старик. — Его и обойдешь-то не сразу. Если появятся еще чаши — воды хватит всем, — закончил он.

Ахметхан спросил:

— Что же ты предлагаешь?

— Подождем еще несколько дней. А пока воду нужно делить по ровну.

— Это не выход, Курбан, — отрезал Ахметхан. — Ты, видно, привык витать в облаках. Вода нужна нам сегодня, в крайнем случае — завтра.

— Я знаю, где взять воду! — вдруг неожиданно для самого себя воскликнул Атагельды, поблднев от волнения.

— Помолчи, когда старшие говорят, — оборвал его строго Курбан.

— Пусть говорит, — перевел на него тяжелый взгляд властный караванбаши.

— Воду нужно взять под землей, — произнес Атагельды.

— Это как — под землей? — с недоумением переспросила худая женщина, а Анартаи открыл от удивления рот.

Атагельды пояснил:

— Надо отрыть колодец. Тогда воды хватит всем — и нам, и верблюдом, и лошадям.

— Я думал о колодце, — признался Курбан, когда шумок утих, — но чем нам вырыть его?

— Да и вода, я думаю, здесь очень глубоко залегает, — добавил старик — владелец преданного коня.

— А что, в словах мальчика что-то есть, — произнес чей-то голос из кучки оборванцев. — А вдруг где-то водоносный слой поближе выходит к пескам?

— Да, такие места должны быть, — согласился старик. — Я знаю это.

— Глупцы! — произнес Ахметхан и хлопнул по песку камчой, с которой никогда не расставался. — Возможно, такое место и есть здесь, в пустыне. Но как же вы отыщете его? Это все равно что найти иголку в стоге сена.

— Я найду место, где нужно копать колодец, — снова неожиданно для себя сказал Атагельды, словно какая-то сторонняя воля заставила его произнести эти слова.

Курбан испуганно дернул его за руку, а караванбаши, недобро ощерясь, произнес:

— Ты? Жалкий хвастун, пустой. Жажда, видно, затуманила твои мозги.

— Я не хвастун.

— Вот как, ты упорствуешь? — сощурился Ахметхан. — Тогда ступай, ищи место для колодца. Но, клянусь аллахом, если не найдешь его — я тебя засеку до смерти своими руками, вот этой камчой, — снова на песке вздулся рубец от страшного удара плеткой.

Последующие действия Атагельды отличались загадочностью не только для старого Курбана, но и для всех остальных. Мальчик прошел в рощицу, образованную стеблями, приблизился к центральному стеблю, задрал голову к его верхушке — странные камышины продолжали ежесуточно прибавлять в росте. Казалось, Атагельды внимает какому-то голосу, не слышному для остальных. Затем он нагнулся и выбрал среди опавших листьев один, по внешнему виду ничем не отличающийся от других. Вот он, изогнутый, слегка бугристый, похожий на лоскут драгоценной замши.

Все не скрывая интереса, глядели на действия Атагельды. Тот принялся обрывать лист, оставив только черенок. Действия его были замедленными, он двигался, словно во сне. Оглядев черенок и, видимо, оставшись удовлетворенным осмотром, он повернулся к деду, стоявшему рядом. Что-то в глазах мальчика было такое, что Курбан невольно сделал шаг назад.

— Дедушка, прости меня, — вдруг произнес Атагельды и неувовимо быстрым движением вырвал у него волосок из бороды. Затем привязал к концу волоска черенок.

— Это что за орудие? — не стерпев, спросил караванбаши, переведя взгляд с черенка на мальчика.

— Потерпи, Ахметхан, узнаешь в свое время, — не очень почтительно оборвал его Атагельды. Караванбаши только моргнул, но ничего не ответил.

Держа свое хрупкое сооружение в вытянутой руке, Атагельды двинулся прочь из оазиса. За ним, не отставая ни на шаг, направилась остальная толпа.

В этот момент произошла небольшая заминка.

— Смотрите, облако! — пронзительно завопил Анартай, случайно глянувший в небо.

Все глянули и убедились: на выцветшей от зноя небесной голубизне и впрямь появился белоснежный барашек. Люди остановились, разглядывая его.

— В этой части пустыни не бывает дождей! — категорическим тоном произнес Ахметхан. — И облаков здесь тоже не бывает...

Небольшое облачко, однако, продолжало висеть, невесть откуда появившееся.

— Неужели мои глаза обманывают меня? — пробормотал старик. — Или, может быть, это проделки шайтана?

Ему не ответили. А облако, не успев разрастись, так же внезапно начало таять, словно кусок каймака, брошенный в кумыс. Когда оно исчезло через минуту-другую, из всех грудей вырвался вздох разочарования.

Первым пришел в себя Атагельды. Он продолжил прерванный путь, за ним потянулись остальные.

Они вышли из оазиса, покинули спасительную тень, и солнце с удвоенной яростью набросилось на них. Атагельды шел, словно во сне. Преодолея пологий бархан, не выпуская из рук волосинку, и направился к ровной площадке, песок на которой был особенно золотист. Площадка была довольно обширной, ее окаймляли песчаные холмы.

— Где-то здесь водоносный слой должен близко подходить к поверхности почвы, — произнес мальчик, ни к кому не обращаясь.

— Ата, одумайся, откуда ты можешь знать это? — не удержавшись, крикнул Курбан. — Признайся, что пошутил, и мы простим тебя.

Атагельды молча пожал плечами.

— Нет уж, такие шутки не прощаются, — покачал головой караванбаши. — Он взбаламутил всех моих людей, вселил в них несбыточную надежду...

Между тем Атагельды двинулся вдоль края площадки, внимательно глядя на черенок, зависший горизонтально. Дойдя до песчаного холма, он повернул обратно и двинулся параллельно своему следу. Он напоминал пахаря, который кладет на пашне борозду к борозде.

Вскоре люди от него отстали. Они сгрудились на краю площадки, продолжая наблюдать за странными действиями Атагельды. Впереди других стояли Курбан и Ахметхан. Только Анартай не отставал от Атагельды. Кривляясь, он вышагивал за ним, время от времени подталкивая в спину, а однажды так ткнул кулаком, что Атагельды, не удержавшись, упал на колени.

— Анартай, не мешай ему, — возмутился старик. — Вдруг он спасет нас?..

— У него самого губы пересохли от жажды, — тихонько добавила женщина.

— Спаситель! — краешком губ усмехнулся Ахметхан, хотя лицо его оставалось неподвижным. — Гляди, Анартай, не упусти его, ежели задумает дать стрекача. А впрочем, здесь он никуда от нас не убежит.

Атагельды продолжал с упорством преодолевать полосу за полосой, не обращая внимания на Анартая. Он даже ни разу не обернулся, не посмотрел на своего мучителя. Взгляд его был прикован к черенку, губы беззвучно шевелились. Курбан решил, что мальчик шепчет молитву. Что касается черенка от листа, то он все время занимал одно положение — горизонтальное.

Шел Атагельды медленно, наклонившись вперед, словно ему приходилось преодолевать сильный ветер. Старый кузнец следил за ним с недоумением, смешанным с испугом. Но задать ему вопрос не решился.

Пыль, медленно оседая, тянулась за мальчиком ленивым облаком. Наконец преследование Анартая надоело, и он, несколько раз чихнув, присоединился к наблюдающим.

Теперь Атагельды шагал по песку один. Он шел сутулясь, словно на плечи его давила непомерная тяга.

— Послушай, мальчишка! Ты долго будешь нам голову морочить? — воскликнул Ахметхан, нарушив тяжелую, гнетущую тишину.

— Время поиска мне неизвестно, караванбаши, — ответил Атагельды.

Ответ привел Ахметхана в ярость.

— Дам тебе еще час, — произнес он, хлопнув камчой. — И если ты не найдешь то, что обещал, клянусь, я собственноручно измолочу тебя. И Курбан будет держать тебя. Договорились? — обратился он к кузнецу. И, не дождав ответа, заключил: — Ну, вот и хорошо.

Народ не разбредался, никто не уходил в тень: каждому хотелось посмотреть, чем закончится действие, которое разворачивалось на их глазах. А кроме того, люди в душе надеялись, что Атагельды все же отыщет воду — уж слишком уверенно он держался, словно знал нечто недоступное остальным.

Когда срок, намеченный Ахметханом, подошел к концу, Атагельды успел прошагать лишь незначительную часть площадки, стиснутой

песчаными холмами. Впрочем, никому из присутствующих не было известно, собирался ли он пройти ее всю и вообще каковы его намерения.

— Вы все свидетели: время истекло, — громко произнес Ахметхан, — а я хозяин своему слову, и я это докажу. Пойдем, Курбан, будешь держать своего внука, как договорились.

— Оставь меня, насильник, — вырвал кузнец руку, которую ухватил караванбаши.

— Вот как? — угрожающе произнес Ахметхан. — Ладно, я с тобой позже разберусь. Эй, хватайте негодяя!

Первым с визгом на площадку выскочил Анартай. Другие, однако, за ним не торопились. Глухо ропща, они остались на месте.

И никто в возникшей кратковременной суматохе не заметил, как черенок, повисший на волосинке, который нес перед собой Атагельды, вдруг дрогнул и одним концом наклонился вниз, словно чаша судьбы на весах древних.

Анартай занес кулак, но какая-то сила оттолкнула его, и он с криком пролетел мимо Атагельды. А тот, не глядя на рухнувшего наземь противника, ткнул босой ногой в песок и сказал негромко, но так, что все услышали:

— Здесь копать.

Дед, подошедший вместе со всеми, со слезами радости обнял Атагельды:

— Я верил, внучек, что небесные силы помогут тебе.

— Рано радуешься, старик, — оборвал его караванбаши. — Возможно, малец хитрит, чтобы выиграть время, и никакого водоносного слоя здесь нет. В таком случае я повешу его, как собаку!

— На чем ты повесишь его, отец? — ввернул вертевшийся под ногами Анартай. — Здесь нет ни деревца.

— Найду на чем, — пообещал Ахметхан. — Я повешу его на самом толстом стебле этого проклятого бамбука — надеюсь, он выдержит.

Атагельды, казалось, не слышал раздающихся вокруг голосов.

* * *

“...Двуногие существа с начатками разума, как я уже отмечал, в значительной мере состоят из влаги. При ее недостатке они погибают. То же, по всей вероятности, относится и к животным, которыми владеют двуногие.

Как дать им воды, как напоить их?”

“Мой синтезатор влаги слишком маломощен, он рассчитан только на одно или несколько семян, попавших в чрезвычайные условия. Именно его я использовал здесь, в пустыне, чтобы получить ограниченное количество молекул воды и прорасти”.

“С помощью корневой системы разведаль слой почвы на предельной, доступной мне глубине. Утолить жажду всех двуногих с помощью чаш едва ли удастся”.

“В одном месте неподалеку от оазиса обнаружил, что водоносный слой ближе всего подходит к поверхности. Здесь существа должны

вырыть артезианский колодец. Но как внушить им мысль о колодце? Это можно сделать только с помощью Атагельды — он единственный из двуногих, с которым у меня постоянный биоконтакт”.

”...Колодца на эту группу живых существ достанет. Ну а если на планете окажутся еще живые существа?

Нужно решать проблему в общем виде: улучшить климат, сделать пустыню плодородной. В том, что это возможно, я убедился с помощью корневой системы: под слоем песка лежит плодородная почва”.

”Формула: нужно напоить не существа, а пустыню! Для этого необходимо вызвать дожди. Сделать это можно с помощью ионизации атмосферы. Энергия для этого, к счастью, у меня еще имеется. Боюсь только перепугать двуногих — они, похоже, не знают, что такое дождь”.

”Такие планеты, лишённые дождей, нам встречались.

Начну поэтому с малого, чтобы приучить их.

Сегодня вызвал прямо над оазисом небольшую тучу. Для этого со стрелок стеблей испустил в небо небольшое количество ионизирующих зарядов.

Первый эксперимент прошел удачно. Этому способствовало то, что в окрестности царит полное безветрие, тучу не сносит в сторону и я могу контролировать ее размеры и прочие параметры. Я получил облако нужной величины и убедился, что при желании смогу вызвать над пустыней дождь. Над колонией стеблей скопилось немного влаги, но для первого раза я решил не обрушивать ее на землю.

Через короткое время я прекратил истечение разрядов, и облако рассеялось”.

”Во время опыта убедился в правоте своих предположений: существа явно видели облако в первый раз. Они чрезвычайно возбудились, обнаружив его, указывали друг другу пальцем, оживленно обменивались звуковыми сигналами.

В следующий раз вызову кратковременный дождь, пусть существа привыкают к нему.

В конечном счете задача Великого Посева — не только зеленые насаждения, но изменение с помощью их жизненных условий планеты”.

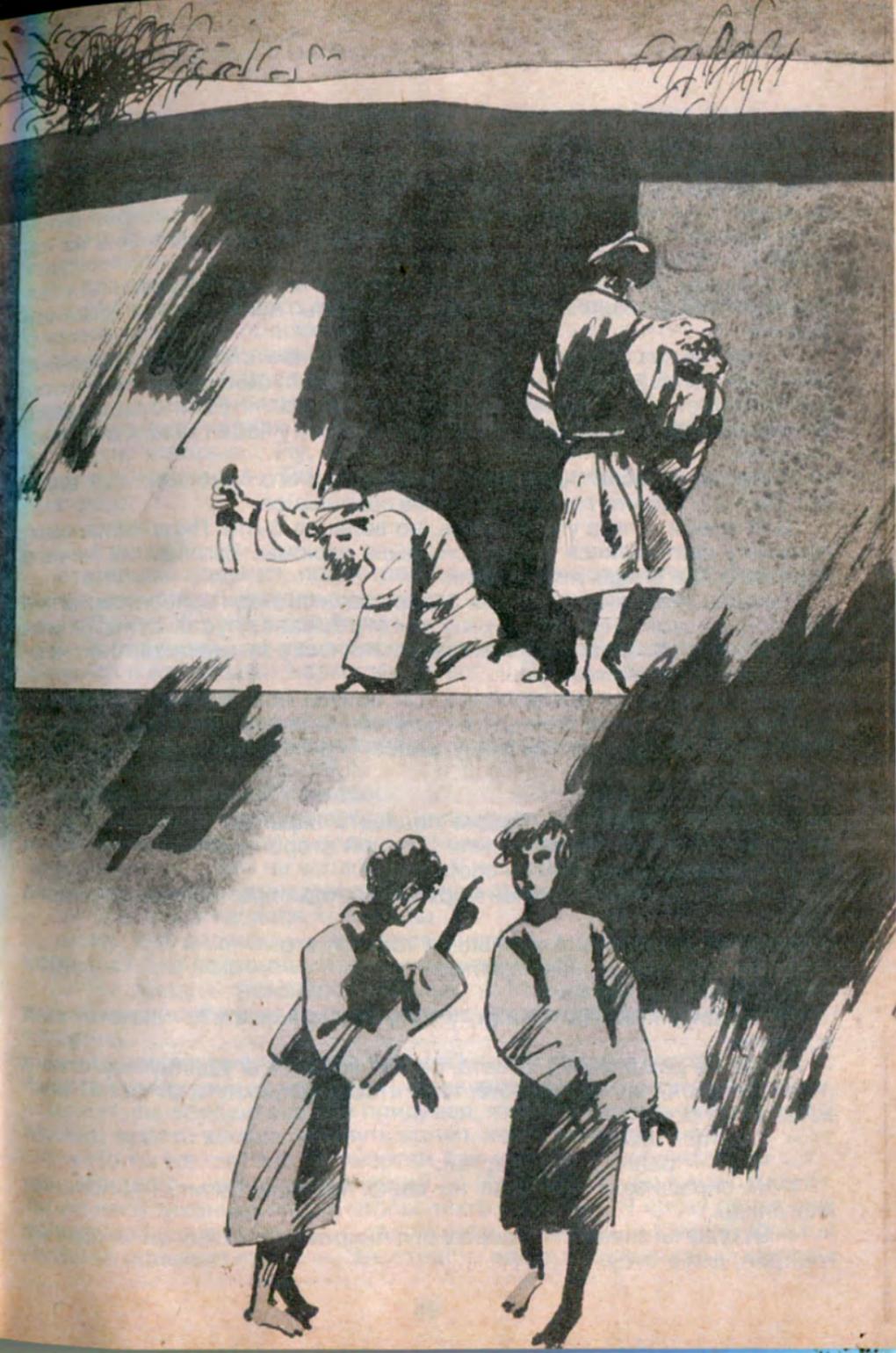
* * *

Ахметхан велел начать работу сейчас же, не дожидаясь, пока наступит вечер и спадет жара.

Не было ни кирок, ни лопат, в ход пошли ножи и тесаки. Песок в хурджины насыпали руками. Его относили в сторону и высыпали в кучи. Те, кто послабее, — женщины и дети. Хурджинов не хватало, и для транспортировки песка пользовались наиболее широкими листьями, сшив их по несколько штук. Кончился слой песка, пошла глина.

— Можно использовать глину для самана, — заметил Курбан, разрезая ножом жирный слой, глянцевито поблескивающий под лучами солнца.

— Копай, копай дальше, — буркнул угрюмо Ахметхан. — Наша цель — не глина.



Анартай, как зачарованный, приглядывался к ножу с орнаментом, которым орудовал Курбан. Ему очень хотелось стащить его, но старик не выпускал нож из рук.

Атагельды не принимал участия в общем труде. Бледный, как смерть, он стоял близ ямы, словно к чему-то прислушиваясь, и смотрел вниз.

— Сынок, тебе дурно? — несмело спросила одна женщина из каравана. — У меня кусок лепешки есть...

Атагельды безучастно глянул на нее и ничего не ответил.

Слой глины кончился, теперь хурджины наполнялись влажной землей.

— Настоящая почва, — произнес задумчиво старик из каравана, разминая пальцами землю. Он ее разглядывал, обнюхивал, казалось, вот-вот сунет в рот, словно редкое лакомство. — Если будет влага, можно сделать грядки, поливные поля. Семена у нас в грузе, к счастью, имеются...

— Вот то-то: если будет влага, — оборвал его Ахметхан. — А воды нет как нет. Так что говори, да не заговаривайся.

Шло время — яма углублялась, но воды не было. Лица копающих, поначалу светившиеся надеждой, были угрюмы. Взгляды их ничего хорошего Атагельды не обещали.

Наконец, на какое-то время задержавшись над горизонтом, алый шар солнца скользнул вниз. Сразу, как это бывает в пустыне, наступила тьма. В небе появилась полная луна, и по песку зазмеились тени, черные, словно китайская тушь.

Курбан трудился иступленно. Он вонзал нож в почву, словно в злейшего врага, ничего вокруг не замечая. Сначала его лезвие резало слежавшийся песок, потом глину, далее — рыхлую темную почву, чуть влажноватую.

Но воды не было.

Вскоре из ямы стало трудно подавать нарытую почву. Тогда по предложению Ахметхана отрыли с одной стороны ступени, ведущие вниз, и работа пошла более споро.

Тень, отбрасываемая кучей вырытой породы, протянулась до самого оазиса.

Анартай подошел к Атагельды и толкнул его:

— Эй, что застыл, как памятник?

Атагельды промолчал.

— Эй, внук кузнеца! Может, у тебя уши заложило? — не отставал сорванец.

Снова не дождавшись ответа, он изо всей силы ущипнул мальчика повыше локтя, но тот, вместо того чтобы вскрикнуть от боли, неожиданно спросил:

— Как твоя щека?

— Что? — растерялся Анартай.

— Я спрашиваю, как язва на щеке: меньше болит? — пояснил Атагельды.

— Откуда ты знаешь? — поразился Анартай. — Я об этом никому не говорил, даже отцу.

— Мне так показалось, — ответил Атагельды и странно усмехнулся.
— Врешь ты все. Я даже повязку не снимал, чтобы язву не побеспокоить.

— А тыними.

— Боюсь.

— Не бойся, — произнес Атагельды, и в его голосе прозвучала такая уверенность, что Анартай, поколебавшись, стал осторожно разматывать повязку, белевшую в лунном свете.

— Ну, вот, все зарубцевалось, — сказал Атагельды и безбоязненно потрогал пальцем подсохший струп.

Анартай провел ладонью по щеке.

— Знаешь, — сказал он, — эта язва мучила меня с детства. Самые лучшие целители ничего не могли с ней поделаться. Мы с отцом даже в святые места ходили... А один мулла сказал отцу, что это наказание за грехи, которые... Ну, неважно, — оборвал он себя, поняв, что сболтнул лишнее. — Так что, будет вода в колодце? — перевел он разговор.

— Будет.

— А когда?

Атагельды подумал, посмотрел на дно, где копошились люди, облитые серебристым лунным сиянием:

— Думаю, ближе к полуночи.

— К полуночи... — как зачарованный повторил Анартай и, приблизившись к Атагельды, жарко зашептал: — Послушай, научи меня колдовству!..

— Никогда не умел колдовать.

— Да ладно тебе! Я же не слепой, — настаивал Анартай. Брошенная повязка валялась у его ног.

Собеседник пожал плечами.

— Ладно тебе прикидываться, — продолжал Анартай, покосившись на старика, который тащил мимо хурджин с землей. — А корешок листа на волосинке — это не колдовство? Я же видел, как он наклонился, и ты велел копать в этом месте. Разве не так все было?

— Так, — согласился Атагельды.

— Ну, вот видишь! — оживился Анартай. — А почему наклонился корешок? Его подземная вода притягивает, да?

— Не знаю, — признался мальчик. — Мне только показалось, что в нужном месте какая-то сила должна поколебать мою легкую перекладинку.

— Ты решил мне голову морочить? — с угрозой в голосе произнес Анартай и наступил на повязку. — Предупреждаю: со мной шутки плохи. А может, ты вообще все это придумал, чтобы морочить всем голову? Может, просто хочешь оттянуть время, когда тебя повесят?

— Но ты же сам видел, Анартай, как черенок наклонился.

— Видел, — согласился Анартай. — Ну и что? Почем я знаю, может, ты на него тихонько подул, чтобы никто не видел. Я сразу понял, как только вас увидел, что вы с дедом себе на уме, — с каждой фразой Анартай повышал голос. — Эй, отец! — вдруг закричал он. — Чего ты

ждешь? Этот негодяй обманул нас всех, воды в яме нет и не будет. Пора его вешать.

— Замолчи, — рявкнул на него снизу караванбаши. — Обойдусь без твоих советов. — Он стоял на дне по щиколотку в грязи. Это была она, вожделенная влага.

...Только глубокой ночью на дне ямы зашлюпала долгожданная вода.

Курбан тихонько провел ладонью по поблескивающей лужице и заплакал, не стыдясь слез.

Снизу передавали воду наверх в чем только можно: в разнокалиберных сосудах, в хурджинах и даже в плотно сомкнутых ладонях.

Люди пили, пили и не могли напиться. Старик поил коня, который шумно фыркал.

А вода все прибывала, и вскоре тем, кто был на дне, пришлось ретироваться, воспользовавшись предусмотрительно вырытыми ступенями.

Курбан нес в баклажке воду и не заметил, как обронил нож на предпоследней ступеньке. Тускло блеснув, тот упал на скользкую землю.

...Откуда людям было знать, что, подчиняясь команде Зерена — сложнейшей кибернетической системы, смонтированной из органических молекул и способной воспроизводить себе подобных, — великое множество корней собирает влагу и передает в только что открытую яму, попутно насыщая воду необходимыми органическими добавлениями.

Откуда было им знать, что капилляры трудятся с полной нагрузкой, подобно крохотным ручейкам насыщая более полноводные потоки.

Один только Атагельды, продолжавший неподвижно стоять на краю колодца, смутно видел перед мысленным взором удивительную картину: глубоко под ногами во все стороны ветвятся змеи. Они неподвижны, эти добрые змеи, и только внутри них, ни на мгновение не замедляя бег, спешит, бьется, струится куда-то животворная влага.

Подошел Курбан, протянул баклажку, на которой поблескивали темные капли:

— Попей, Ата.

Атагельды пил долго, делая судорожные глотки. Отдыхал и снова припадал к отверстию. Вода оказалась такой же сладковатой, как та, которую они брали в чашечках растений. Курбан поглядывал на внука с каким-то новым выражением, вроде начал слегка побаиваться. Шутка сказать, он неким таинственным образом вывел их к воде, спас весь народ от мучительной смерти. А теперь о нем как будто забыли, никто даже не подойдет.

Наконец Атагельды оторвался от сосуда, вытер губы и глубоко, словно проснувшись, вздохнул.

— А ты? — спросил он.

Старик улыбнулся:

— Я напился.

Тихий, как степная лисица, незаметно подкрался рассвет. Побледнел, истончился и стал почти прозрачным трепетный диск луны, а тени,

лежащие на песке, из черных превратились в серые. И узкая полоска на востоке начала только-только разгораться.

Усталые люди с сосудами, полными воды, возвращались в свои хижины. Женщина, несшая в одной руке узкогорлый кумган, подошла к Атагельды и молча расцеловала его.

Жизнь в оазисе покати́лась спрочно, как арба по наезженной дороге. Люди оказывали Атагельды знаки внимания и почтения, но он старался всячески избегать их. И в конце концов его оставили в покое, к большому облегчению Ахметхана, которому невыносимо было наблюдать, как превозносят этого сопляка, жалкого выскочку. Подумавшись, обнаружил место, где нужно копать колодец. Да может, он сделал это по чистой случайности, просто повезло. А если и вселился в него дух, то бесноватый, нечистый. И, собственно, теперь, когда есть вода, оазис дает тень и достаточно плодов на пропитание, мальчишка вообще никому не нужен. Только взгляды людей к себе притягивает, словно магнитом.

Да, после той памятной ночи, когда в пустыне открыт был колодец, авторитет караванбаши явно пошатнулся. Но теперь, похоже, все возвращается к прежнему порядку.

На следующий день, когда люди подошли к колодцу, вода в нем достигла середины ствола, остановившись где-то на уровне четвертой сверху ступеньки. Приходил сюда, между прочим, и Курбан, который ночью хватился ножа; потери своей, однако, он не обнаружил.

В последующие дни уровень воды в колодце оставался неизменным, сколько бы из него ни черпали, какой бы зной ни сжигал пустыню.

Когда с водой стало свободно, решили вместо хижин-временок из опавших листьев построить саманные домики. Ведь от мыслей покинуть оазис пришлось отказаться: а куда податься? И в том городе, который покинул кузнец с внуком, и там, откуда пришел караван, всюду было плохо, всюду властвовали богатеи и с бедняков спускали три шкуры. Так зачем же гневить судьбу и, как говорится, от добра искать добра?..

Воспользовались глиной и землей, нарытыми во время копания глубокого колодца. Саман получился отменным, и вскоре два ряда приветливых домиков выстроили вдоль единственной улицы кишлака, которая одним концом уходила в оазис, а другим шла в пустыню.

И никого особенно не удивило, что постепенно в поселке то здесь, то там стали прорастать все те же светло-зеленые полупрозрачные побеги, дающие и тень, и плоды.

Новых чашечек, несущих влагу, не появлялось, но в них и не было необходимости.

Затем по инициативе старика — владельца коня соорудили несколько грядок, расчистив для этого слой песка. Скептики утверждали, что ничего из этой затеи не получится, пустыня-де свое возьмет, песок занесет землю. Маловеры, однако, оказались посрамлены.

Семена, оказавшиеся в караване, дали хорошие всходы, песок, несмотря на ветры, грядки не засыпал, а земля все время хранила влагу, каким-то образом подпитываясь изнутри.

Уже не рошу, а чуть не целый лес представлял собой оазис, тот, который Атагельды когда-то обнаружил в виде маленького зеленого островка. Стебли разрастались, захватывали все большую территорию.

Несколько раз над кишлаком собирались тучи, самые настоящие тучи, однако, повисев в небе, таяли. Впрочем, в последний раз из огромного серобрюхого облака упало на кишлак несколько капель, что вызвало общую радость. Ребятишки носились по улице, как оглашенные, даже удар грома их не испугал. И взрослые покинули саманные обиталища.

Курбан степенно стоял у своего глинобитного крыльца, с надеждой поглядывая на небо. Честно говоря, сладковатая вода порядком ему надоела, хотя внук и уверял, что именно она принесла здоровье его сердцу, точно так же, как излечила десятки хворей у других людей. Но мало ли что взбредет в голову Атагельды? Он вообще после того случая, когда отыскал место для колодца, стал вроде не от мира сего. Задумчиво бродит, словно неприкаянный, все время к чему-то прислушивается, а спросишь о чем-нибудь — отвечает невпопад. Может, и впрямь Ахметхан прав, и Ата слегка тронулся умом?

Даже в груди кузнеца, при всей беспредельной любви к внуку, начало вырастать против него глухое раздражение.

С некоторых пор Курбан начал подумывать о том, чтобы открыть рядом с домом небольшую кузницу. Работенка нашлась бы, да и здоровье позволяло: сердце совсем перестало беспокоить. Сдерживало только то, что не было необходимых инструментов: поспешно уходя из города, они, конечно, успели взять только самое необходимое.

Пока старый кузнец стоял, размышляя, над его головой успело собраться мохнатое облако. Внук, отправившийся к колодцу по воду, долго не возвращался, это начинало беспокоить. С улицы доносились верблужьи крики, коротко проржал конь. Заплакал грудной младенец, и послышался успокаивающий голос матери.

На потрескавшуюся от зноя глину крыльца упали первые тяжелые капли. Дождь!

Курбан слизнул каплю, попавшую на губу. Это была обыкновенная вода, сладковатый привкус в ней отсутствовал. Вскоре капли густо застучали, грянул ливень. Странно было наблюдать этот дождь, идущий из одной тучи, в то время как рядом с безмятежного неба продолжало сиять солнце.

Раздвинув стебли, образующие живую изгородь, во двор вошел Атагельды. Он шел не спеша, несмотря на то, что сильный дождь вымочил его до нитки. Занес в дом воду и стал рядом с Курбаном.

Стоя на крыльце, они несколько минут молча наблюдали, как с острых концов листьев, покрывающих крышу, стекают прозрачные струйки воды.

Старик посмотрел на внука: свежий кровоподтек пересекал его лоб.

— Опять? — покачал Курбан головой. — Сколько раз тебе говорил: это плохо кончится.

— Он всегда начинает первым.

— Как это случилось?

— Я шел к колодцу. Дождь еще не начинался, было жарко, решил идти через оазис. Ну, разросся он — что-то несусветное, прямо джунгли. С каждым шагом заросли все гуще, приходилось продирааться. Хорошо там, прохладно, сыростью пахнет... Ближе к середине — стебли все толще и выше. Сорвал спелый плод, ем. Вдруг показалось, впереди кто-то пробирается, листья под ногами шуршат.

Курбан погладил бороду.

— Удивился я, — продолжал Атагельды. — Потому что знаю: люди почему-то стали побаиваться сюда ходить. Подумал, может, конь из каравана забрел в чащу? Гляжу — Анартай.

— Я и говорю: вечно он тебе попадается, — вставил старый кузнец.

— Заинтересовало меня: что ему понадобилось в середине старого оазиса? — вел рассказ мальчик, пропуская реплику старика мимо ушей. — Стал наблюдать. Гляжу, он приблизился к центральному стволу, зачем-то обошел вокруг него раза два-три. Потом достал из кармана какой-то продолговатый предмет — сквозь листья я не разобрал, что это было. Но тут под ногой у меня хрустнул пересохший ствол стебля. Анартай вздрогнул и сунул предмет в карман. И здесь я догадался, что счастливый случай привел меня сюда, в глубину оазиса, вовремя: видимо, Анартай хотел ножом срезать самый старый стебель.

Курбан пришел в раздражение.

— Никак не избавишься от своих фантазий, — проворчал он. — Дался тебе этот самый стебель! Ну, и что было дальше?

— Я ему говорю: "Не трогай ствол! Предупреждал ведь...". А он: "Не твое дело". Ну, и ругается. "Отдай дедушкин нож". "А ты его видел у меня?" "Не видел, но знаю — он у тебя". "Слишком много знаешь", — ухмыляется Анартай.

— А ты на самом деле знаешь, что мой нож у него? — оживился Курбан. — Откуда?

— Понимаешь, дедушка, я не знаю, как объяснить... — Атагельды запнулся. — Мне как бы снилось это... снилось наяву... Словно Анартай подобрал нож, который ты обронил, когда копал колодец.

— Опять твои сны, — покачал головой кузнец. — Это я же тебе и рассказывал, что, по всей вероятности, потерял нож в ту ночь. Неважно у тебя с головой, Ата.

— Слово за слово, и мы подрались...

— Как всегда.

— Мне, честно говоря, досталось...

— Я не слепой, — вставил Курбан и погладил его по непокорным волосам.

— Но и ему досталось, — закончил Атагельды.

К этому времени ливень иссяк, прекратившись так же внезапно, как начался. Края облака истончились, и оно начало быстро таять.

— Непонятно, откуда взялся этот дождь, — заметил старик. — И продолжался-то он всего ничего, по-моему, несколько минуток, не больше. Знать бы заранее, что он будет, я бы приготовил посудину, собрал хоть немного воды.

— Зачем тебе?

— Та, что мы пьем, сладковатая, уже начала надоедать, — признался Курбан.

Атагельды хотел сообщить, что и облака снятся ему накануне появления. Видится в полусне, возникающем наяву, как из самого старого стебля, расположенного в середине оазиса, устремляется ввысь невидимая струйка мельчайших частичек, будто это пылинки, но во много раз меньшие. И каждая, поднявшись в небо, становится центром, вокруг которого собирается капля воды. Множество капель, словно пасущиеся овцы в отару, собираются в облако.

Ну разве такое расскажешь дедушке, который и так считает, что ты немного не в своем уме? Атагельды подумал и промолчал.

— И так Ахметхан на нас косится, — вздохнул старик после продолжительного молчания. — А тут еще сегодняшняя твоя драка с Анартаем... Ну, срезал бы он старый ствол, подумаешь! И вообще, с чего ты взял, что его нельзя касаться? Тоже приснилось, что ли?

— Не могу тебе ответить, дедушка, — пожал плечами Атагельды. — Знаю только одно: если срезать или повредить самый первый стебель, будет плохо.

— Кому?

— Всем. Всем, кто живет в кишлаке, кто нашел здесь дом и пищу, — ответил Атагельды.

— Чудишь, Ата, — вздохнул Курбан. — А я вот кузницу надумал открыть. В кишлаке у нас всем заправляет Ахметхан. Как я теперь пойду к нему?

Атагельды оживился. При слове "кузница" ему живо припомнились и звонкая наковальня, на которой дед ловко отковывал подковы, гвозди, задвижки и прочие нужные вещи, и весело пылающий в печи огонь, и горн с мехами, которые жалобно вздыхали, когда Атагельды принимался раздувать пламя.

— Откроешь кузницу?

— Хорошо бы, — сказал Курбан. — Но для этого много вещей нужно, а где их взять?

* * *

В свободное время Зерен решил подвести итоги своего пребывания на планете, на которую забросила его судьба.

Что ж, результаты неплохие. Покрыта растительностью поверхность пустыни площадью в несколько сот квадратных арабегов. Обнаружено несколько видов, пусть немного, живых существ, в том числе и разумные. Последние несколько забавно перемещаются на двух задних конечностях, освободив передние для работы. Кстати, умственный коэффициент двуногих оказался гораздо выше, чем Зерен сначала предполагал. Что ж, ошибка в подобную сторону всегда приятна. В биоконтакт, правда, удалось вступить только с одной особью, но, может, это только начало?

Отверстие в почве для воды двуногие проделали удачно. Эксперимент Зерена с внушением получился на славу. И теперь он с помощью капиллярной системы поддерживает в колодце воду на одном уровне.

С помощью корневой системы, которую специально пришлось туда подводить, питает он влагой и грядки, на которых двуногие посадили семена. Честно говоря, то, что они умеют культивировать зеленые насаждения, потрясло его. Значит, потенциал у них — ого-го! Что ж, тем больше оснований помочь им, сделать пустыню пригодной для жизни, преобразовать планету, выполнить то, что называется двумя величественными словами — Великий Посев.

Да, двуногие существа с начатками разума оказались совсем не простыми. Запросы их иногда ставили Зерена в тупик. С их недугами, связанными с нарушением органики, он разобрался относительно легко, и нужные вещества, добавленные к воде, сделали свое дело: среди двуногих больных больше не было.

Но вот последний биосеанс с молодой особью Атагельды доставил ряд загадок, и теперь Зерен размышлял, как действовать дальше.

Снова и снова прокручивал он перед мысленным взором образы, переданные ему мозгом Атагельды.

...Сводчатая печь, в которой судорожно пляшут языки огня. Мальчик подбрасывает туда куски черного, жирно лоснящегося угля, который тут же подвергается реакции интенсивного окисления.

Ну, огонь двуногие знают, в этом Зерен убедился давно, еще только когда дед и внук, избегаемая от жажды, добрались до оазиса — нескольких стеблей с цветочной чашей, чудом произросших в пустыне. Тогда же, вечером, Курбан и Атагельды развели неподалеку от Зерена костер, и он боялся получить ожог. Итак, уголь? Возможно, здесь есть в почве уголь, во всяком случае он поможет им добыть его, как помог добыть из-под земли воду для питья и прочих нужд.

Что еще? Пламя, без усталости танцующее в печи, освещает сумрачное прямоугольное помещение, выхватывая из полутьмы то бороду Курбана, то его сильные жилистые руки, то оживленное лицо Атагельды, то кусок мазаной стены с висящим на ней инструментом.

Какие выводы можно сделать из картин, расшифрованных в эти мгновения Зереном?

Двуногие существа, оказывается, уже знакомы с металлом, научились обрабатывать его. Быть может, они успели пройти в своем развитии железный век. Популяция их достаточно велика, в пустыне оказались только несколько особей. А может, на планете произошла неведомая катастрофа и эти особи — все, что осталось от рода?..

Зерен обязан их спасти, не дать погибнуть в пустыне... И он снова вернулся к образам, которые вспыхивали в мозгу молодой человеческой особи.

...Снова помещение кузницы. Здесь пахнет угольной пылью, железной окалиной, овечьей шерстью. Это сложный клубок запахов, в котором Зерен сумел разобраться только с помощью памяти Атагельды, которая служила ему путеводной нитью.

Проникать в чужую мыслительную сферу было трудно, порой даже мучительно, но Зерен понимал, что это необходимо для того, чтобы спасти двуногих.

...Посреди помещения — массивный предмет, похожий на пень дерева, ровно срезанного стреловидной молнией. Предмет темный, ваколпченный. Интересно, из какого он вещества? Неужели это древесина, покрытая слоем копоти? Очень хочется потрогать предмет, но сделать это невозможно. Хотя бы потому, что он существует только в воображении Атагельды. И потому остается только вслушиваться, глядяваться, внюхиваться в его память.

— Атагельды, подай-ка мотыгу! — раздается глуховатый, как у всех сердечников, голос Курбана.

Мальчик хватает в углу инструмент, подбегает к деду.

— Бросай на наковальню!

При ударе раздается характерный звук. Железо! Так он, Зерен, и предполагал.

Курбан начал возиться с мотыгой. В углу громоздилась еще куча всякого инструмента. И мысль, уже некоторое время подспудно беспокоившая Зерена, заполнила его. Не предназначены ли все эти изделия из металла для войны? Не являются ли они холодным оружием?

Если это так — ситуация коренным образом меняется. Цивилизация Зерена прошла через эпоху опустошительных войн и на собственном горьком опыте постигла, к каким страшным последствиям они приводят. Потому Зерен и его бесчисленные собратья поклялись уничтожить войны в самом зародыше, на какой бы планете, в какой бы галактике ни встречались угрожающие признаки междоусобиц. И тут... Длинное древко, на нем изогнутое металлическое лезвие. Если его наточить — им вполне можно снести голову, отсечь конечность, как-то иначе нанести рану.

"Мо-ты-га", — повторяет Зерен, фиксируя и этот термин в своем заповионающем устройстве. Словарный запас его неуклонно растет. И так, для чего же она, мотыга, служит двуногим? Зерен вышел на главную мысль: теперь от этого зависит все. Другие предметы, лежащие в углу, едва ли могут служить для военных целей: полукруглые предметы — подковы, их двуногие набивают на копыта лошадей, верблюдов и других выючных животных. Кумганы, котелки, казаны — их используют как емкости для влаги и жидкой пищи. И на других, хоть и неизвестных Зерену изделиях, явно лежит печать мирных занятий. Но вот мотыга... Мотыга вызвала у него подозрения. И он снова и снова возвращается к ней, терзая память Атагельды во время каждого сеанса биосвязи.

...А мальчик измучился, спал с лица, его терзала бессонница. Обеспоконенный Курбан расспрашивал, что с ним происходит, но Атагельды не мог ответить ничего вразумительного. Тревожные, сумбурные сны донимали его, какие-то липкие тонкие корешки проникали, словно щупальца, в мозг, обжигая его нездешним огнем, — но как об этом расскажешь деду?

Ну а если окажется, что мотыга — орудие войны? О, тогда Зерен

знает, как поступить. Он снова соберет в себя жизненосную силу, которая растекалась по тысячам и тысячам капилляров, добывающих из глубин почвы драгоценную влагу, силу, которая гонит вверх растения, заставляя их выбрасывать листья и плоды. Плоды дают людям пищу, зеленые листья — тень. Опавшие листья они использовали для самана, из которого сооружены хижинь кишлака.

Достаточно Зерену отдать команду — и капилляры отомрут, плоды увянут, листья пожухнут. Стебли пожелтеют, утратят прозрачность, их сломит и свалит на песок самый слабый порыв ветра. И строения двуногих станут хрупкими и начнут разваливаться без всякой видимой причины. Просто саман начнет крошиться, словно слеппен он из влажного песка, и хижина за хижинной будет рушиться, пока люди не останутся без крова над головой. И они погибнут здесь, в пустыне, от голода и жажды, если только не сумеют выбраться из раскинувшихся окрест песков, если вообще на этой планете, кроме песков, есть и другая — плодородная почва.

Вот Атагельды кладет на наковальню очередную мотыгу — их больше всего в куче предметов, сваленных в углу кузницы.

Курбан снимает мотыгу с древка, оглядывает железное лезвие; трогает его пальцем, хмурится. Затем подходит к печи и бросает его на раскаленные уголья, источающие нестерпимый жар.

— Поддай жару! — говорит кузнец.

Атагельды еще больше раздувает горн. Мехи надсадно скрипят, как легкие астматика.

Но вот мотыга раскалилась докрасна, Курбан натягивает рукавицы, щипцами достает ее и кладет на наковальню. Податливое железо легко изгибается под тяжелым молотом, которым орудует кузнец. Звонкие удары металла о металл разносятся по кузнице. Красными звездочками разлетается во все стороны окалина.

Дело сделано.

Курбан, захватив мотыгу щипцами, несколько мгновений любуется делом своих рук, затем бросает ее в бочку с водой, откуда с шипением поднимается белый султан пара.

Дав время остыть, Атагельды достал мотыгу из воды, потрогал пальцем закраину.

— Острей, чем твой нож, — сказал он деду.

— Все верно, — кивнул Курбан. — Думаешь, легко дехканину взрыхлять поле. Ведь в засуху оно бывает потверже камня.

"Взрыхлять поле!" Словно удар молнии осветил сознание Зерена. Будь речь о человеке, можно было бы сказать, что он перевел дух. Если бы Атагельды не произнес свою фразу, вся правдивая история, которая здесь рассказывается, могла бы повернуться по-другому.

Так или иначе, мальчик эти слова произнес, вернее, Зерен их вытацил из его одурманенного сном мозга.

Итак, единственное подозрительное по форме орудие двуногих носит, оказывается, мирный характер, значит, военные устремления им чужды.

Теперь можно выяснить, чем он, Зерен, в силах им помочь. Мечты

Атагельды ясны — это, очевидно, и мечты старого Курбана: воссоздать здесь, в кишлаке, кузницу, которая была у них где-то далеко, за пределами оазиса.

Зерен погрузился в глубокое раздумье, воспроизведя образы предметов, которые для этого необходимы.

Прежде всего — помещение. Это несложно. Кузница, которой грезил Атагельды, сложена из такого же самана, что и все дома кишлака. Ну, без примеси опавших листьев, но это несущественно. Наоборот, с листьями строение будет еще прочнее.

Что там еще? В сознании всплыли молот, меха, горн, наковальня, щипцы. Вещество, из которого их следует сделать, Зерен примерно представлял. Но как выполнить эти вещи?..

И Зерен погрузился в раздумье.

* * *

Уже не рощицу, а целый лес представлял собой оазис, некогда приютивший и спасший двух умиравших от жажды путников. Разрастаясь, стебли захватывали все большую территорию. И песок отступал, не в силах ничего поделаться с могучей зеленью.

Жизнь в кишлаке потекла размеренно, как полноводный арык в привычном русле. Босоногие детишки, с утра оглашавшие криками единственную улицу поселка, окрепли, да и взрослые на здоровье не жаловались: многочисленные хвори и болячки куда-то отступили, исчезли.

Женщины научились шить одежду из привядших листьев взамен поистрепанной, и получалось совсем неплохо.

Однажды Атагельды шел в сумерках к самому толстому и старому стеблю, который, подобно патриарху, возвышался среди своих собратьев.

С некоторых пор мальчик чувствовал необъяснимую тягу время от времени приходить в глубину оазиса, постоять здесь немного, послушать таинственный шум листьев, прислониться щекой к шершавому стволу, вглядеться в подвижные трубки и жилки, в которых пульсирует чужая жизнь. Он давно уже, как и остальные жители оазиса, перестал считать необычными эти растения: разве привычное может оставаться странным?

Он шел по тропинке, которую успел протоптать, хотя ходил сюда один. Остальных сюда не влекло или, может, чего-то они побаивались. В кишлаке ходили глухие слухи, что прежде, бывало, захочешь дотронуться до растения, а оно как шибанет тебя — ого-го, только держись!

Раскаленный краешек солнца еще висел над горизонтом. "Точно серп, который только что вытащили из печи", — подумал Атагельды. Под влиянием разговоров деда он часто вспоминал кузницу, которую им пришлось бросить в городе, и думал о том, как построить новую здесь, в кишлаке. Заказов бы им хватило, да и руки, честно говоря, истосковались по работе — и у Курбана, и у внука.

В пустыне темнеет быстро. Солнце не успело скрыться, а тени от стеблей уже поползли через тропинку, стараясь густо заштриховать ее поперечными полосами.

Атагельды показалось, что вдали, близ главного ствола, что-то блеснуло. Он замедлил шаг, пригляделся, но мешала зелень, особенно густая здесь, в середине оазиса. Почва, усыпанная прелым листом, сплошь покрывавшим песок, мягко пружинила под ногами. От стволов шел какой-то чуть сладковатый пряный запах, отдаленно напоминавший вкус воды.

Стараясь не шуршать, Атагельды выглянул из-за ствола, ближайшего к центральному. В этот момент он не думал о собственной безопасности.

Тьма сгустилась еще больше, на небосклоне прорезались первые звезды.

У старого ствола маячила какая-то фигура, которая показалась Атагельды знакомой. Фигура опустилась на корточки. Снова блеснуло, и послышался глухой удар о ствол. В то же мгновение тело Атагельды пронзила такая боль, что он, не удержавшись, вскрикнул. Фигура обернулась, поднялась и отпрянула от ствола.

— Анартай! — изумился Атагельды. — Что ты здесь делаешь?

Его постоянный соперник молчал, ковыряя почву босой ногой. Глаза Атагельды, привыкшие к темноте, различили смущение на его лице.

— Я-то по делу, — поднял голову Анартай, — а вот тебе что здесь надо?

Вопрос застал мальчика врасплох. И впрямь, что ему тут нужно в этот поздний час? Какая необходимость привела его в самую таинственную середку оазиса?

Он сделал шаг к Анартаю:

— Скажи, не бойся.

— Вот еще, бояться! — презрительно усмехнулся Анартай. — Вы с дедом не мерзнете в хижине по ночам?

— Бывает, — ответил Атагельды, сбитый с толку неожиданным вопросом.

— И что тогда делаете?

— Печку топим... — Атагельды все еще не понимал, куда клонит собеседник.

— А чем?

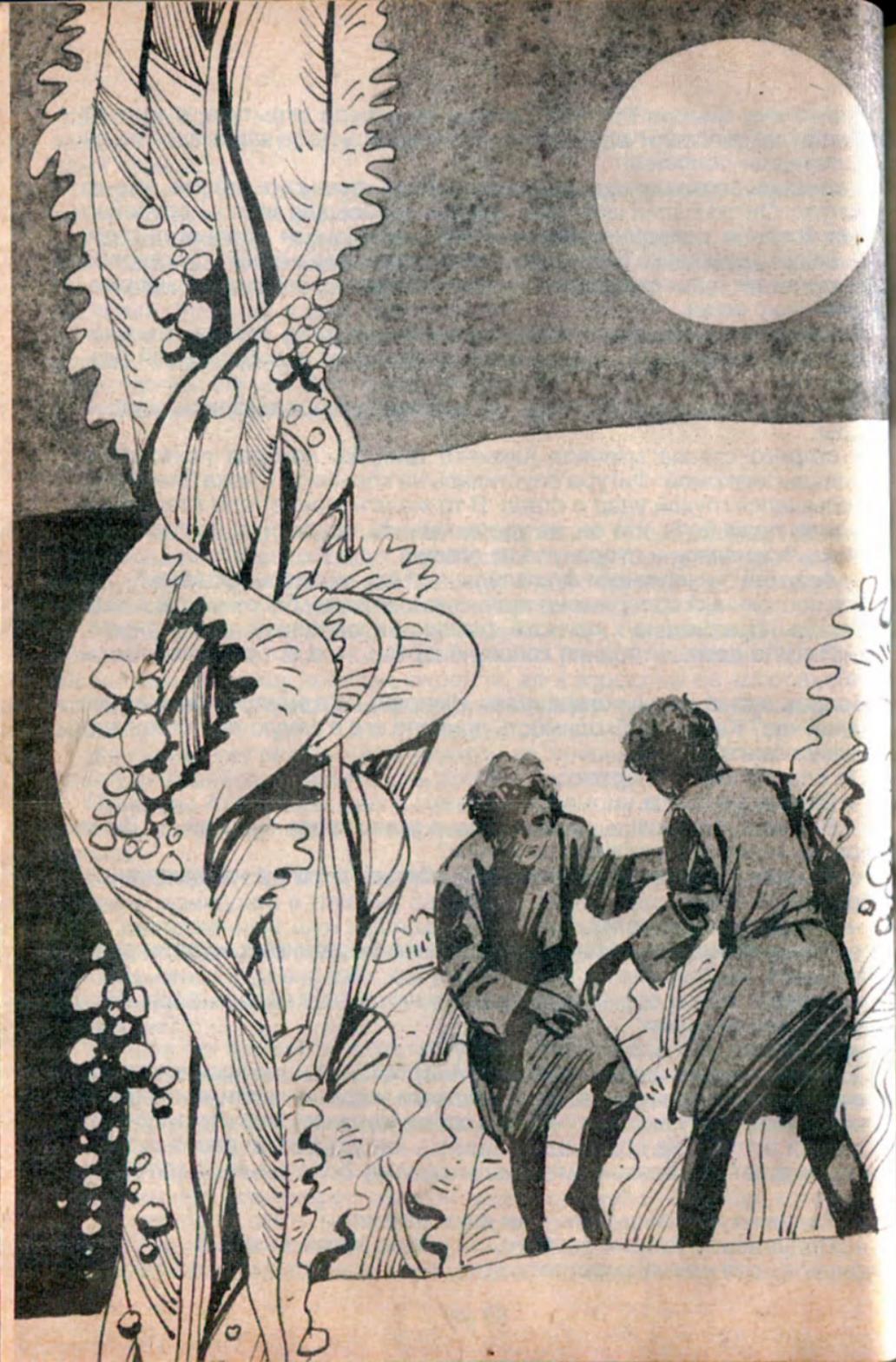
Ата пожал плечами:

— Листьями, как все.

— Вот именно, как все, — повторил Анартай. — А мне надоело совать в печь эту труху, которая не дает никакого жара, — с этими словами он ткнул ногой кучу листьев. — Мы с отцом мерзнем, мне это надоело, и я решил пустить на дрова этот ствол! — он ударил по растению кулаком, и в тот же момент Атагельды ощутил болезненный толчок в грудь.

— Растения нельзя рубить, они дают нам все.

— Подумаешь! Вон их сколько, — повел рукой Анартай. — Одно срубишь — два новых вырастет.



— Нет, так дело не пойдет, — решительно произнес Атагельды. —

Ступай домой.

— Ты мне не указ.

— Зачем тебе понадобился именно этот ствол?

— Он самый толстый и высокий. Посмотри, верхушка с чашей

упирается в небо. Ну, чаша нам не нужна, в колодце всегда достаточно воды. Слушай, а ты сможешь дотащить его до нашей хижины?

Произнеся эту тираду, Анартай с ножом в руке снова нагнулся к основанию растения.

Не помня себя, Атагельды ринулся на противника. Их тела сплелись, словно две песчаные змеи в смертельном соперничестве.

Анартай был старше и сильнее, и поначалу он одолевал. Атагельды рухнул на колени, потом на спину. Враг занес руку, чтобы пырнуть его ножом, в котором Ата узнал давно пропавший нож деда. Но не о ноже думал в эти секунды Атагельды. И не о себе. Изловчившись, он вцепился зубами в правую руку противника, тот завопил от боли и выпустил нож. Атагельды подхватил его на лету и, не раздумывая, отбросил как можно дальше. Нож, описав дугу, с легким шумком нырнул в кучу зарослей, казавшихся черными.

— С ума сошел, щенок, — прошипел Анартай. — Дамасская работа. Попробуй его теперь найди.

— Не найдешь, — спокойно подтвердил Атагельды.

Анартай набросился на него с удвоенной яростью. Однако главная опасность была устранена...

Они катались по слежавшимся листьям, и, когда вблизи оказывалось растение, Анартай бил его о корни головой.

Треск они подняли немалый, но кишлак был отсюда далеко, и шум битвы никто не слышал.

Наконец Анартай поднялся с земли, очищая запачканные колени.

— Это тебе хороший урок, — обратился он к Атагельды, который остался лежать.

Когда шум шагов затих вдали, жестоко избитый мальчик попытался встать, но это ему не удалось. Голова гудела, во рту он почувствовал солоняватый привкус. Провел рукой по губам, ладонь стала мокрой: он догадался, что это кровь. Анартай в драке разорвал ему уголок рта. Боль становилась все сильнее, затопляя сознание.

Не будучи в силах подняться, он пополз в сторону центрального ствола. От прелых листьев шел дурманящий запах, который шибал в нос.

Мальчик добрался до старого ствола, обхватил его руками. Ему почудилось, что поверхность ствола мелко дрожит. А может, это дрожат руки? От растения исходила какая-то успокаивающая сила. Она утишала боль, проясняла голову.

Через несколько минут Атагельды сумел встать на ноги, придерживаясь за ствол. Стала таять и саднящая боль в порванном уголке рта. Он потрогал рукой: кровь перестала идти. Радость от того, что спас растение, переполняла душу.

Через непродолжительное время Атагельды окончательно пришел

в себя. Он попробовал сделать несколько шагов. Боль окончательно прошла. Тронул рот — раны в углу губ как не бывало.

Подойдя к месту схватки, Атагельды на глазок определил, куда упасть дедов нож, и попытался нашарить его, но вскоре убедился, что это безнадежное дело. Жаль, хотелось порадовать старого кузнеца. Но ничего не поделаешь!

И он отправился домой, чувствуя странную, какую-то звенящую легкость во всем теле. Словно напился бодрящего напитка из неведомого источника.

Курбан не спал, поджидая внука. Когда появился Атагельды, он не стал спрашивать, где тот так долго ходил, а только проворчал:

— Ложись поскорее, завтра рано вставать.

— Почему? — поинтересовался Атагельды.

— Я приготовил яму, пока ты неведомо где носился, — ответил старик, поглаживая бороду. — Будем замешивать глину для самана.

— Дом расширять?

— Дом нас устраивает. Вон там, в углу двора, я решил сложить помещение для кузницы.

— Здорово! — хлопнул в ладоши Атагельды.

— У выючных животных сменим подковы, которые стерлись. Потому я давно мечтаю подковать скакуна, который мне понравился в первый день, когда пришел караван. Ну, и вообще, внучек, работы нам с тобой хватит.

— А где ты, дед, возьмешь оборудование для кузницы? — спохватился Атагельды. — Наковальню, горн, мехи, щипцы и все остальное?

— Спи, разболтался, — неизвестно почему обиделся старик. — Неужели ты думаешь, что аллах оставит нас в беде?

* * *

"...До сих пор не могу прийти в себя. Для исполнения своего замысла пришлось снять защитное поле вокруг центрального ствола, и в результате один из аборигенов едва не уничтожил его, попытавшись срубить под корень. Хорошо, что дело спас Атагельды, приглашенный мной для очередного сеанса биоконтакта.

Молодая особь вступила в борьбу со злоумышленником, рискуя собственным существованием. К сожалению, ничем не мог помочь ей, ведь моя корневая система слишком малоподвижна по сравнению с быстрами перемещениями двуногих".

"Теперь, когда все спокойно, я могу снова вернуться к своему замыслу.

Постановка задачи выглядит незамысловато. Я представляю себе предметы, которые нужны для оборудования кузницы. Знаю и материал, из которого они сделаны. Остается получить их. Но как?"

"Попытался прозондировать мозг Атагельды. Результаты малоутешительны. Аборигены используют слишком сложный путь для получения железа: это связано с добыванием руды, переплавкой ее в печах и так далее, что мне в данных условиях осуществить затрудни-

тельно. К тому же представления мальчика нечетки, расплывчаты, видимо, получение железа он представляет смутно”.

“Тупик?”

Нет, так просто я не сдамся. Думаю, думаю, использую для мышления всю резервную энергию, в том числе и защитных силовых полей, но придумать ничего не могу. Идея бродит где-то рядом, но все время ускользает”.

“Пока решил, воспользовавшись случаем, взять образчиком изделие из металла, который обронили аборигены во время единоборства...”.

* * *

Помещение для кузницы получилось на славу. Весь кишлак приходил на него полюбоваться.

— Нам нужен кузнец, — произнес Ахметхан. — Не только подковы — копыта животных стерлись от долгого пути. И потом, не вечно же нам торчать здесь?! А для дальнего пути караван надлежит привести сначала в порядок... Но чем же ты собираешься работать? — воскликнул он, не в силах скрыть удивления, когда убедился, что помещение пусто.

— Не беспокойся, караванбаши, — ответил Курбан. — Все будет в свое время.

— Откуда возьмешь оборудование? — сощурился Ахметхан. — Может, оно у тебя припрятано?

Курбан сжал бороду в кулак:

— Это мое дело.

— Темнишь, ох, темнишь ты, старик, — сказал Ахметхан и удалился, поигрывая плеткой, которой пользовался для наведения порядка среди населения кишлака.

Дед и Атагельды переглянулись.

* * *

Нож, брошенный Атагельды, упал в зарослях молодых растений. Пронзив лезвием слой листьев, он воткнулся в песок. Так лежал он несколько суток, то покрываясь ночной росой, то слабо нагреваясь под солнечным лучом, случайно прорвавшимся сквозь завесу листьев и ветвей.

Никто из людей не видел, как вокруг открытого пяточка, на который попал нож, вдруг начали прорастать тонкие и бледные усики ростков. Они тянулись вверх медленно, словно часовые стрелки. Но для скорости и роста ветки это, по земным понятиям, была, конечно, величина огромная. Все прутья обладали одной особенностью — каждый из них склонялся к ножу, словно хотел получше рассмотреть его. Вскоре верхушки прутьев переплелись наверху, образовав над ножом подобие маленького ребристого шатра. Затем купол шатра с той же скоростью начал опускаться на нож.

И вот уже только небольшая вмятина в почве напоминала о том, что

здесь недавно торчало лезвие. Гибкие и прочные щупальца, послушные воле Зерена, утащили металлический предмет, принадлежащий землянам, под песок, чтобы исследовать его. Это могло помочь реализации плана, который смутно созрел в сознании Зерена.

Между тем нож все глубже погружался в землю. Некоторые щупальца, попадавшие на остро заточенное лезвие, перехватывались и погибали, но другие занимали их место, и движение не прекращалось. Через какое-то время, правда, щупальца перестроили свои действия. Человек сказал бы, что они набрались опыта. Теперь тонкие, упругие нити избегали лезвия, предпочитая навиваться на рукоятку.

Погрузившись на достаточное расстояние, нож двинулся в горизонтальном направлении в сторону мощной корневой системы, над которой возвышался центральный ствол, самый старый в оазисе. Перемещался нож с той же малой, почти не ощутимой человеком скоростью.

...Исследование металлической пластинки еще более подняло интеллект местных существ во мнении Зерена. Он долго осмысливал продолговатый стальной предмет, которым был нанесен такой болезненный удар по стеблю. Рана оказалась столь глубокой, что ее пришлось врачевать с помощью активных биологических соединений, подобно тому, как он исцелял болезни и увечья самих этих непонятных существ.

Сталь была неожиданно высокой пробы, мало на каких планетах, кроме его собственной, могли изготавливать такую. Вещество — высокоочищенное, почти без молекулярных вкраплений. Как могли эти неуклюжие, примитивные существа получить такой совершенный предмет? Может, он попал сюда из космоса? Нет, не следует спешить с выводами. К этой мудрости старый Зерен пришел давно.

Он поместил нож в мощное силовое поле, которое, подобно ножнам, окутало его. Затем последовала подземная вспышка, и прекрасный нож Курбана, украшенный восточными письменами, перестал существовать. Он рассыпался в пыль, на кусочки, обломки вещества.

Вспышка в глубине оазиса, глубоко под землей, сопровождалась легким гулом, который был слышен даже в кишлаке. Люди с недоумением поглядывали то в сторону горизонта, то на небо. Но даль была безмятежной — не было ничего, что напоминало бы внезапный самум или надвигающийся смерч.

Спокойным было и небо — на этот раз в нем не было облаков, которые время от времени сгущались над оазисом, изредка проливаясь дождем.

И люди постепенно успокоились, возвратившись к прерванным делам.

...Зерен напряженно размышлял, пока его не осенила ослепительная мысль. Снова и снова возвращался он к ней, обдумывая детали.

Да, он, пожалуй, сумеет осуществить то, о чем мечтают старый Курбан и Атагельды, он выполнит для них те предметы, которые видит мальчик в своем воображении. Правда, на это уйдут остатки силовой энергии, в том числе и защитной.

Форма предметов была ясна, как и вещество, из которого их надлежит делать. Неясно только, какой величины должны они быть, эти предметы, которые необходимы для кузницы.

С чего начать?

Зерен припомнил молот, которым в многокрасочном сне мальчика орудовал старый кузнец, и принялся за дело.

* * *

Пустое помещение для кузницы угнетало Курбана. Он с грустью поглядывал на приземистые саманные стены, на плоскую крышу, сложенную из опавших листьев. Столько усилий затрачено, и все впустую.

— А на что ты, дед, надеялся? — как-то спросил его Атагельды, когда они сидели вечером на крылечке хижины.

Дед вздохнул.

— Сам не знаю, — уныло развел он руками. — Очень по работе соскучился. Думал, может, у Ахметхана найдется для нас какое-нибудь оборудование. Вон сколько груза всякого тащил караван...

— Если что у него и есть, он не даст, — задумчиво произнес Атагельды, глядя в одну точку. — Не такой человек.

— Сам знаю, — согласился Курбан. — Да что теперь делать, кто скажет?

Помолчали.

— Печку мы сложим, — начал старик, прерывая паузу. — Мехи, как-нибудь исхитримся, из листьев сошьем. Но железа где взять нам? Хоть кусочек для начала...

Атагельды посмотрел на него отрешенным взглядом.

— Даже нож, как на грех, пропал, — с досадой добавил кузнец.

— Нож твой я недавно видел.

— Это где же? — встрепнулся Курбан.

Атагельды рассказал о недавнем происшествии в зарослях оазиса.

— Я спас самый старый стебель, — заключил он свой рассказ.

— Стебель меня не интересует, — отмахнулся старик. — Что же ты сразу не рассказал?

— Не хотел волновать.

— А место, где вы подрались с Анартаем, найдешь? — глаза Курбана заблестели.

— Найду.

— И местечко, куда нож кинул?

— Конечно.

— Может, Анартай туда потом смотался и нож подобрал? — озабоченно сказал кузнец.

— Он туда не ходил.

— Откуда знаешь?

— Я наблюдаю за ним все эти дни, — пояснил Атагельды. — Опасаюсь за старый ствол.

— А сам-то зачем туда ходишь?

— Дед, я ведь объяснял тебе много раз, — сделал мальчик нетерпеливое движение. — Возникает у меня тяга — вот и иду туда...

— Ладно, ладно, разберемся еще с твоей тягой. Не вековать нам здесь, в пустыне. Уж не знаю как, но когда-нибудь выберемся отсюда, и я поведу тебя к лучшему целителю. Говорят, он ученик самого Абу Алти ибн-Сины... А теперь вставай! — старик вскочил со ступеньки, схватил за руку и поднял легонькое тело Атагельды.

— Что случилось?

— Пойдем в оазис!

— Ночь на дворе.

— Луна полная. Светло, как днем! — возбужденно проговорил старик, не выпуская руку мальчика.

— Что за спешка?

— Тяга у меня, понимаешь? — улыбнулся Курбан. — Тяга отыскать свой нож.

Атагельды пошел, хотя и с неохотой. Улица была пустынна. Кишлак спал. Спали и хижины, отгородившись от пешеходной части глухими глинобитными дувалами. Калитка в дом караванбаши была приоткрыта, и Курбан заглянул туда, но никого не увидел.

Вдоль улицы росли редкие стебли растения, сразу за околицей они шли гуще. Успевшие опасть листья образовали слой, который начисто скрыл песок.

Впереди шел Атагельды, за ним, отставая на несколько шагов, Курбан. Вслед за ними тащились огромные четкие тени. Под ногами слабо шуршали мягкие листья.

— Удивительный оазис, — заметил Курбан, — да благословит его аллах! Он все время наступает на пустыню и, видишь, побеждает ее. Спас нас от смерти, а потом дал приют и пищу целому кишлаку. Знаешь мне даже временами и покидать его не хочется. Так и жил бы здесь всю жизнь.

— Ну и живи.

Старик возразил:

— А доктор для тебя?

Атагельды промолчал.

— Даже не знаю, где теперь границы оазиса... — пробурчал старик себе под нос.

Заросли становились все гуще. Иногда приходилось сквозь них продираться. Выручала еле заметная тропинка, проложенная Атагельды.

— Как ты только дорогу находишь? — сказал Курбан, еле поспевая за внуком.

Мальчик промолчал и на этот раз.

С каждой минутой стебли становились все выше. Они давно уже перевалили за человеческий рост.

— Я сюда не ходил с того дня, как мы попали в оазис, — проговорил кузнец, тяжело дыша. — Поистине здесь джунгли. Далеко еще?

— Нет.

— Не беги так, — взмолился старик. — Я не попеваю за тобой.

— Уже пришли, — сказал Атагельды и остановился. — Вот он, ствол!
— Медленными, какими-то торжественными шагами он подошел к старому растению, вымахавшему высоко в небо, обхватил его руками и прижался щекой к сморщенному стволу. Затем опустил на корточки, стал вглядываться в могучее основание, пошарил по нему руками и недоуменно воскликнул: — Здесь ничего нет.

— А что должно быть? — осведомился кузнец, который стоял рядом, скрестив на груди руки.

— След от ножа! Я сам видел, как после удара Анартая нож глубоко вонзился в ствол и из коры во все стороны брызнул сок...

Курбан нагнулся, осмотрел место, на которое указывал Атагельды: никаких повреждений, рубцов не было.

— Не знаю такого, чтобы зарубка на стволе пропала сама собой, — проговорил он, поднявшись, и покачал головой. — Может, тебе привиделось? Сам говоришь, что тебя сонные видения одолевают...

— Нет, не привиделось, — ответил Атагельды, пытаясь скрыть растерянность.

— Ладно, привиделось — не привиделось, — махнул рукой старик. — Показывай, куда нож забросил.

Но и здесь Атагельды подстерегала неожиданность. Несмотря на усиленные поиски, нож не находился. Мальчик готов был поклясться, что именно в это место среди зарослей нырнуло блестящее лезвие, но ничего, кроме вмятины среди листьев, они не обнаружили.

Кузнец уже смирился с пропажей.

— Пойдем, — сказал он внуку, — больше тут делать нечего.

Но Атагельды удерживала какая-то смутная сила, и он продолжал безнадежные поиски, хотя умом и понимал, что они ни к чему не приведут.

— Я в твои годы тоже был таким упрямым, — сказал Курбан. Он сидел в холодке, прислонившись спиной к стволу, и поглаживал свесившийся к нему широкий лист растения.

Короткая ночь успела промелькнуть, наступило утро, и солнечные лучи начинали приметно припекать.

Дед еще что-то говорил, но Атагельды не обращал на его слова внимания. Стоя на коленях, он как одержимый продолжал перебирать лист за листом, а добравшись до песка — просеивал его сквозь пальцы.

Вдруг мальчик издал короткий торжествующий крик.

— Что случилось? — всполошился Курбан. — Нож отыскал?

— Нет.

— Змея укусила?

— Подойди ко мне, — попросил Атагельды. — Кажется, я обнаружил клад.

Курбан, кряхтя, поднялся. Когда он приблизился к Атагельды, тот пристально разглядывал какой-то небольшой предмет. Старик подслеповато сощурился:

— Что там? Старинная монета? Или, кажется, фигурка? — присмотрелся он.

Вместо ответа Атагельды протянул ему маленький молоточек, сде-

ланный из какого-то серебристого металла.

Старик недоуменно повертел его в руках, осторожно погладил узловатым пальцем, очищая от налипших пылинок.

— Непохож на старинный... — покачал он головой. — Блестит как новенький. Станный молоток — рукоятка его сделана не из дерева, а тоже из металла. Погоди, не трогай.

— Дед, это серебро?

Курбан потрогал молоточек на зуб, зачем-то даже понюхал его.

— Нет, не серебро.

— Не серебро? А что же? — в голосе Атагельды сквозило разочарование. В мыслях он уже видел узкий лаз в пещеру и сокровища Али-Бабы.

— Сталь, мой мальчик.

— Сталь?

— Сталь, — подтвердил кузнец, — но очень высокого качества. Я бы сказал — благородная сталь. Мне даже кажется... но нет, этого не может быть! — перебил сам себя Курбан. Как ни приставал Атагельды, он не пояснил, о чем идет речь. — Потом, потом, — сказал старик. — Дай мне додумать свою мысль до конца.

Молоточек блестел как новенький и был совершенной формы.

— Послушай, дедушка, — воскликнул вдруг Атагельды. — Да ведь это молот, которым ты работал в кузнице. Только, конечно, уменьшенных размеров.

— Думаешь? — продолжая рассматривать находку, старик в задумчивости погладил бороду.

— Ну, конечно! — возбужденно произнес Атагельды. — Гляди, вот обух, вот рукоятка, изогнутая у основания. Я помню твой молот до мельчайших подробностей, много раз представлял его себе...

— Гм...

— Только, конечно, твой молот был такой, — показал руками мальчик. — А такой игрушкой много не поработаешь. Дед, а что тебе покажется?

— Видишь ли... Мне почудилось, что этот молоток переплавлен из моего ножа.

— Это как?

— Не знаю.

— Нет, дедушка, такого не может быть! — решительно произнес Атагельды. — С чего ты взял?

— Мне мой нож прослужил не один десяток лет, — сказал кузнец. — Он стал мне чем-то вроде родного брата. Не изменял, был надежным... и прочным. Я его на ощупь мог узнать среди других инструментов. Вот и теперь вроде его узнаю, но в обличье молотка. — С этими словами Курбан сунул находку в карман.

— А может, что-то еще здесь найдем? — предложил Атагельды. — Давай поищем.

— Хорошо, — согласился кузнец.

Они рылись до позднего вечера, но молоточек оставался единственной находкой. Измазанные и усталые, в кишлак вернулись затемно.

Стойкие растения с широкими листьями так далеко разбежались по пустыне, что редко кто доходил до их края. А потом жителям кишлака и вовсе стало казаться, что они испокон веков живут в этом странном лесу.

Пищу им давали плоды, которые приносили растения. Люди их не только поедали, но и сушили, и вялили впрок. Близ каждой хижины висели их золотистые связки.

Каковы они были на вкус? Тут мнения людей решительно расходились: дело в том, что каждый находил в них свой собственный вкус, и самые ожесточенные споры не позволяли прийти к единому мнению.

Но так или иначе, а пищи хватало да еще с избытком.

Хватало и воды в колодце. Сколько бы ее ни черпали накануне, назавтра она всегда достигала прежнего уровня, холодная, прозрачная, хотя и чуточку сладковатая.

Чашами, расположенными на верхушках растений, люди пользовались все реже, и количество их уменьшалось. Наконец осталась только одна, расположенная на верхушке самого старого растения.

Люди в середину оазиса предпочитали не ходить — это место пользовалось дурной славой. Только Атагельды время от времени пробирались сюда, повинувшись неясному импульсу. Он-то и решил проследить, куда деваются чаши растений.

Заметив накануне, что чаша приметно уменьшилась в размерах, он назавтра с утра отправился в центр оазиса, запасшись несколькими вялеными плодами.

За ночь чаша успела еще более съежиться. Лепестки, окаймляющие ее, приобрели розоватый оттенок и напоминали застывшие языки огня.

Атагельды выбрал наблюдательный пункт близ места, где они с дедом недавно нашли таинственный молоточек, и принялся смотреть на чашу. Неуловимо медленно она продолжала уменьшаться в размерах. Он порылся в опавших листьях, но никаких новых находок обнаружить не удалось. В голову лезли мысли о кузнице, которую так и не удалось оборудовать, о том, что Курбан спрятал сверкающий молоточек в укромное место, сказав, что это их талисман и о нем не нужно говорить никому.

Отвлечись, он забыл о времени, а когда спохватился и посмотрел на чашу — она стала совсем небольшой. Теперь он глядел на нее, не отрываясь.

К вечеру чаша превратилась в маленький цветок, который свободно бы уместился в его кулаке. Наконец она стянулась в розовую почку, которая вскоре исчезла, словно растворилась в воздухе. Сколько ни вглядывался, запрокинув голову, Атагельды, он так и не сумел ее обнаружить.

Когда он собрался возвращаться в кишлак, в воздухе пронеслось что-то вроде вздоха и земля под ногами задрожала. Прогредел гром, более явственный, чем тот, с неделю назад, заставший его в кишлаке. Однако в небе и на этот раз не было ни облачка.

Окончание следует

ХОЧУ ОТ НЕГО РЕБЕНКА

Этот мальчик понравился мне сразу, когда он пришел в наш класс с другими новенькими. Мы оказались за одной партией. Сначала было интересно поговорить с ним, потом я стала испытывать радость даже от простого соседства. Мы стали гулять. Он такой милый, обворожительный, у нас с ним было все так хорошо, и я дошла до того, что отдала ему все и вся. Пусть меня не осуждают – я так была влюблена! Сейчас моя влюбленность перешла в Любовь, но его чувство тоже изменилось – мы стали встречаться очень-очень редко...

Я, может быть, что-нибудь с собой и сделала бы, но меня удерживает одна мысль: я же хочу ребенка! От него! Я хочу от него ребенка.

Кто-то скажет – дура, калечит свою жизнь, будет потом тянуть ляжку матери-одиночки и раскаиваться. Все это я знаю, я об этом думала. Я знаю, мне будет тяжело (кому не тяжело рожать в 16 лет), меня будут осуждать родные и близкие, могут отвернуться. Но ради е г о ребенка, ради того, кого люблю, пойду против всех, даже против родителей. Ради ребенка брошу учебу – а я собираюсь

поступать в институт, опять же ради него (ему нужна жена или девушка с высшим образованием). Если надо – уйду от родителей (благо, квартира есть), но ребенка я воспитаю. И, наверное, найдутся такие, кто меня подберут.

И.С.
Москва

МНЕ НЕ ВЕЗЕТ В ЖИЗНИ

Мне давно уже не везет в жизни. Меня гнетет одиночество. Наверное, многие мне скажут: избавиться от одиночества проще простого! Ходи на дискотеки и т.д. Но если бы вы побывали на наших дискотеках... Туда в основном ходят мальчишки, изрядно пьяные, считающие, что дискотека – то самое место, где можно побалдеть и снять кого-нибудь на ночку. Часто бывает, что эти вечера заканчиваются драками. Идти туда одной просто опасно. А на школьные вечера все девочки приходят со своими парнями, так как на три одиннадцатых класса у нас наберется всего десять мальчишек. Да и вообще я стеснительная, какая-то мягкая, и для меня понятие "девичья честь" очень

много значит. Хотя теперь я часто стала задумываться: а зачем все это? Очень хотелось бы встретить хорошего парня. Но какая девчонка не мечтает об этом?

Я завидую всем, у кого есть свой парень, и по вечерам дома из-за этого плачу. Ведь так хочется, чтобы рядом был кто-то, способный тебя понять, поддержать в трудную минуту, кому ты очень нужна. Мне не хватает просто друзей, которые могли бы помочь.

**Ольга
Красноярский край**

РОДИТЕЛИ НЕ ВЕРЯТ МНЕ

Мне 15 лет, учусь в десятом классе. Все началось с того, что мне подруга предложила сигарету. Ради интереса я решила попробовать. Так и пошло: вечер, улица, друзья, подруги. Курила я, может, с месяца, втайне от родителей. Но однажды кто-то сказал маме, что я курю и даже пью. После этого для меня жизнь — тюрьма. Меня не стали пускать на дискотеки и даже вечерами к подругам. Если иногда и ухожу, то мама кричит, будто меня тянет к сигарете. Но это не так.

Я сейчас не курю, это было мимолетное увлечение. Но родители не могут этого понять и не верят мне.

Без подписи

ВСЕ ПОМНЮ!

Получила моя пятнадцатилетняя сестренка ваш журнал, а я прочитала его от корки до корки, залпом, с удовольствием. Вы адресуете свое издание тем, кому еще нужно "входить" во взрослую жизнь, а я, кажется, уже успела перешагнуть этот рубеж. Совсем недавно. И очень давно. Но все помню! И меня волнуют те же вопросы, что и тех, кого принято называть подростками.

Сейчас я совершенно взрослый, семейный человек. Работаю в солидной организации, воспитываю сынишку, учусь заочно в институте. Но что-то осталось у меня от того "трудного" возраста. Иногда уговариваю мужа отпустить меня на дискотеку или на концерт так редко заезжающих к нам рок-групп, где даю своей душеньке порезвиться вволю. А недавно выкрасила волосы и ногти в зеленый цвет. Этакая но-стальгия!

Возможно, это происходит

со мной потому, что в свое время мне пришлось сделать выбор между подростковой свободой, строго ограниченной влиянием родителей, и семейной – как мне казалось, самостоятельной – жизнью. В 17 лет я стала женой и матерью. "Ни о чем не жалеть! Все к лучшему!" – так я бы сформулировала свое жизненное кредо, и, следуя ему, я действительно считаю, что поступила правильно. Но что-то тянет, тянет назад, в такие трудные и, поверьте, прекрасные 13–17 лет. Сейчас я совсем как взрослая, солидная тетенька, с высоты своих 22 лет могу сказать: это было время исканий, ожидания чуда и самой чистой, самой настоящей – Первой Любви. В 13 лет (рановато, но факт) я впервые влюбилась...

Хочу обратиться ко всем подросткам: спешите жить с своей жизнью, не отставая от времени и не забегая вперед!

Елена ИВАНОВА
г. Уфа

ПОМЕНЬШЕ СЛУШАЙТЕ СКАЗКИ...

Вот вышел новенький, красивенький журнальчик – "Мы". И выйти не успел – как все со своими бедами к журнальчику, с просьбами, помощи, мол, а то жить скучно стало, любви нет, некра-

сивая... А что скучного-то? Помню, раньше все сидела дома да еще хотела чего-нибудь веселенького. Мать все сказки рассказывала – что "принц" должен сам прийти, мол, девушка не должна сама за парнем бегать. Так дома и просидела лет до тринадцати. В конце концов надоело. У всех девчонок парней хоть отбавляй, а у меня ни одного нет. Пошла я на дискач, первый раз вроде не понравилось, пошла второй – вроде ничего. Нескольким раз подряд ходила – и так мне понравилось, что если не пойду, прямо умираю. Конечно, сразу и парни, и любовь появились, и до того нормально жить стало, что даже учиться лучше стала!

Поменьше слушайте бабушкины сказки, и тогда все в жизни будет у вас о'кей.

Лена
г. Северодвинск

ДОМ ДЛЯ ШИЗИКОВ И САДИСТОВ

Я кончаю школу. Говорят, что школа – второй дом. Для меня школа – дом для шизиков и садистов. В ней развиваются пошлость, вранье, жестокость. Каждый класс – это стая волков. Нормальных учителей нет – нормальные здесь не держатся. Остаются или бесчувственные автоматы, или истерички, находящие кайф в вечных воплях, или просто подхалимки, оде-

вающиеся, обставляющие свою квартиру и пополняющие бижутерию за счет родоков своего класса. Одна мамашка достает ей линолеум, обои, другая духи, путевки "за бугор", третья колготки. Тошно! А вот моего одноклассника она любит только по тем дням, когда он приносит ей видеокассеты напрокат (он в видике работает). Ну как любить эту школу? Да я ее ненавижу!

У меня мечта – чтобы высадили меня на необитаемый остров и жить не мешали. Мои ровесники большей частью детки. Кроме детства, у них в башке блядство пополам с мечтами о выпивке. Ничего не знают, газеты в руки не берут.

Одно хорошо – родоки у меня клевые. Не забыли, наверное, себя в моем возрасте.

Вот и живу – зверьком, одна против всех. Жалости и любви хватает на предков и младшую сестренку. Их я люблю, а остальные – в пролете. Мой вывод: жизнь – однообразная, мерзкая штучка, подсунутая аллахом для прикола толпе зубастых кроликов. И когда она кончится? Впрочем, это я смогу сама урегулировать. У меня в столе десять пачек сильнодействующего снотворного. На случай дикой тоски.

Эгоистично по отношению к родителям? Может.

Извините за ошибки – так школа научила.

**Анастасия
Казахская ССР**

ДОЛГО ЛИ ДЕВОЧКИ БУДУТ ДУРЬЮ МАЯТЬСЯ?

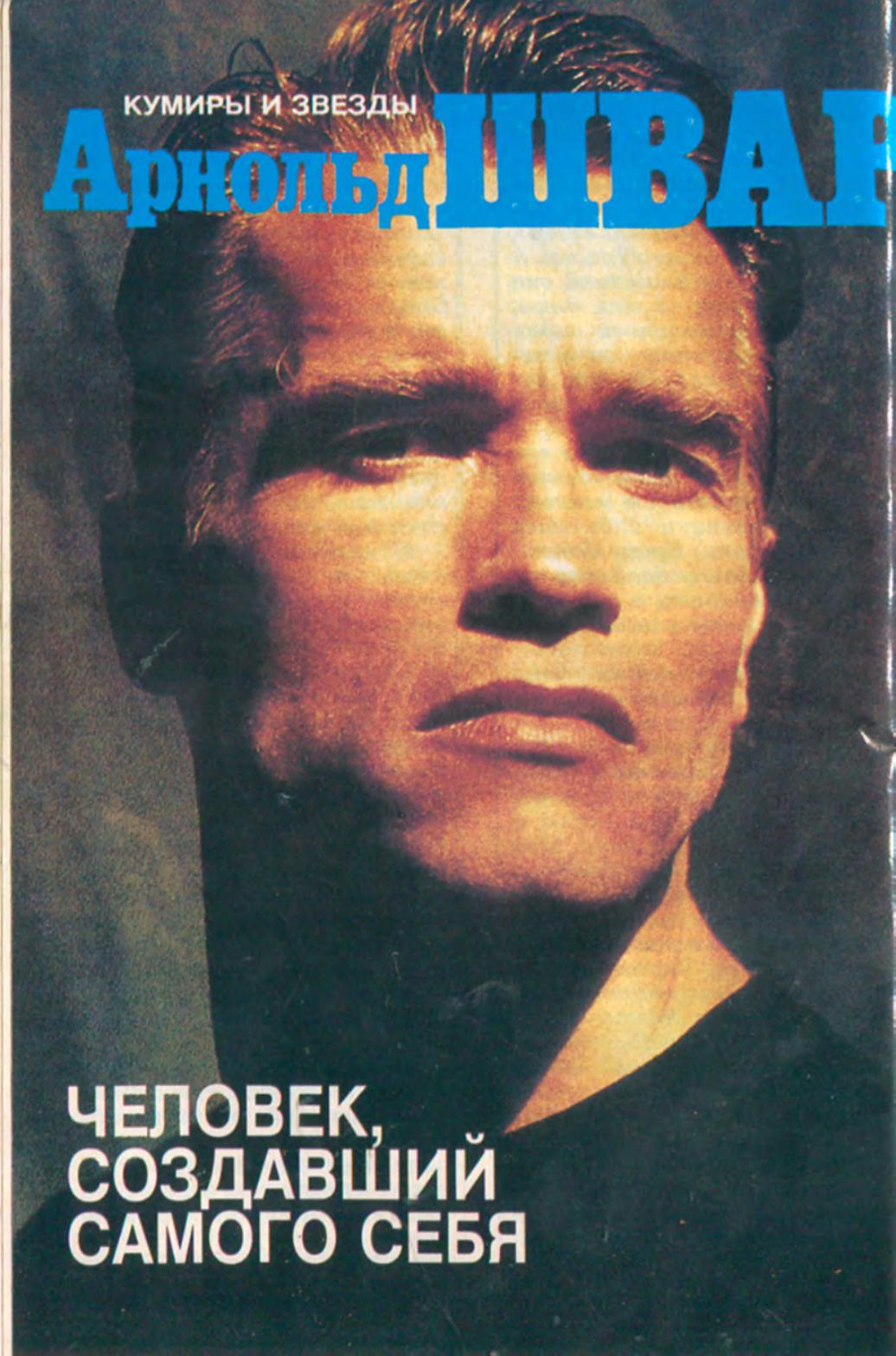
...Вчера меня "осчастливили". Пришло по почте "письмо счастья", которое вложено в качестве приложения. Представляете, какое большое счастье – двадцать раз переписать его и отправить по двадцати различным адресам. И, главное, откуда берутся такие поразительные сведения? О Хрущеве, например, в 1882 году кто мог предположить? Ведь в письме написано, что текст не меняется вот уже 108 лет.

Но самое интересное другое – долго ли девочки (именно девочки!) будут, извините, дурью маяться?

**Таня
Сумская область**

От редакции. В редакционной почте "писем счастья", "святых писем", подобных тому, что переслала нам Таня, было уже немало. Все они отправились в корзинку для мусора. Но хотелось бы понять: неужели наши читатели столь наивны, что станут переписывать такие вот безграмотные фразы: "Хрущев прочитал и выбросил в унетаз а через 2 дня его свергли с Политбюро".

И еще, самое главное. Мы задавали вопросы священнослужителям – как они относятся к "святым письмам"? И получили ответ: отрицательно. К религии, к подлинной вере в Бога весь этот мусор отношения не имеет.



КУМИРЫ И ЗВЕЗДЫ

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР

ЧЕЛОВЕК,
СОЗДАВШИЙ
САМОГО СЕБЯ

ЦЕНЗУРА

Тереза КАРПЕНТЕР

Было утро одного из тех редких дней, когда Арнольда Шварценеггера удалось застать в офисе. У него столько разнообразных дел, что, бывает, он неделями не показывается в "Оук продакшнз" в Калифорнии, где расположена штаб-квартира его гигантской империи. В то утро он опоздал на полчаса. Вот он появляется, на нем обыкновенная майка, и вообще если бы не мощнейшие руки и ноги, он бы выглядел как вполне обычный мужчина.

"Итак, — спрашиваю я, — есть ли у вас какой-нибудь особый распорядок дня?" Это один из тех безобидных вопросов, с которых принято в таких случаях начинать разговор. Но Арнольд, рассеянно постукивавший по трубке, нахмурился, как будто я сказала что-то неприличное.

"Распорядок? — переспрашивает он тоном, который вызывает в памяти скорее раздражительного Конана, нежели развеселого тирольца из фильма "На-

качивая стальные мускулы". — Распорядка у меня нет".

Я случайно задела его больное место. Может быть, слово "распорядок" напоминает ему о неприятных изнурительных тренировках культуриста; Арнольд проделал большой путь с тех пор, когда ему приходилось позировать в плавках, чтобы привлечь к себе внимание. А может быть, понятие "распорядок" кажется ему каким-то "неамериканским" (на одной из стен висит огромный шелковый флаг Соединенных Штатов — свидетельство любви Арнольда ко всему американскому). Единственная тема, на которую он будет распространяться с уничтожающим презрением, — это его родная Австрия, где, по словам Арнольда, государственные служащие идут на обед ровно в полдень и считают дни до пенсии. В Калифорнии такой человек, как Арнольд, — человек свободный, независимый — просыпается утром и сам придумывает,

что будет сегодня делать.

“Если у вас нет твердого рас-
порядка, — поспешно добавляю я,
— вы очень счастливый человек”.

“Да, — подтверждает Арнольд,
просив, — я очень счастливый
человек”.

Если Арнольд и склонен с эн-
тузиазмом говорить о том, как ему
повезло в жизни, кто же вправе
упрекнуть его? Его карьера —
пример одного из самых небыва-
лых взлетов, которого когда-либо
достигали эмигранты в Сое-
диненных Штатах. Когда в конце
60-х годов Арнольд приехал в
США, чуть ли не все его пожитки
умещались в вещевом мешке, а
теперь в его коллекции больше
титулов, чем у любого другого
соперника, занимающегося куль-
туризмом. К 1980 году, когда
Шварценеггер оставил спорт, он
получил один раз титул “Мистер
Мир”, пять раз — “Мистер Все-
ленная” и семь раз — “Мистер
Олимпия”. А в один год он удосто-
ился всех трех сразу.

Несмотря на мешавший ему не-
мецкий акцент, Арнольд смог со-
вершить переход из мира спорта
в мир кино. Сначала он отвоевал
себе жизненное пространство как
непреклонный герой фильмов
про черную магию и сабельные
поединки, потом как непреклон-
ный герой боевиков, где успешно
соперничал с Сильвестром Стал-
лоне (а кое-кто считает, что и
превосходил его) по части кас-
совых сборов.

Вопреки своему имени, от ко-
торого наверняка мурашки бегают
по спине светских снобов (“Швар-
ценеггер” в буквальном переводе
означает “черный пахарь”), ему
удалось стать одним из немногих
избранных. Два года назад его

женой стала Мария Шривер —
отпрыск клана Кеннеди и к тому
же завидная партия. Последнее,
впрочем, справедливо и в отно-
шении Арнольда. Он был состоя-
тельным человеком еще до того,
как познакомился со Шривер в
1977 году.

Только за последние два года
его доход составил, как говорят,
4,3 миллиона долларов. Сюда
входят не только его заработки в
Голливуде, но и доход от сорев-
нований за титул “Мистер
Олимпия” и “Мистер Вселенная”,
сопродюсером которых он те-
перь является. Львиную же долю
составляет прибыль от вложений
в недвижимость, которые он де-
лал в течение последних двадцати
лет в Санта-Монике, Лос-Андже-
лесе, Сан-Франциско и Денвере.
Журнал “Форбс” назвал его в
числе десяти самых состоя-
тельных людей Америки, занятых
в шоу-бизнесе.

Из соображений имиджа и по-
литики Арнольд довольно сдер-
жанно говорит о своем богатстве.
Его миллионы, кажется, служат
тем фоном, на котором развора-
чивается его нынешнее “любов-
ное приключение”. Теперь пред-
мет его страсти не мускулы и не
деньги, а сумасбродная комедия,
где он и Дэнни де Вито играют
братьев-близнецов. “Близнецы”
(режиссер Айвон Рейтман) ре-
кламируется как фильм, который
откроет комедийные возможнос-
ти Арнольда.

Арнольд Шварценеггер в ко-
медии? Каким же это образом,
спросите вы, Конан оказался в
Стране Смеха?

“Я давно понял, — объясняет
Арнольд, — что мне доставит удо-
вольствие сняться в комедии, но

вечно шли споры с режиссерами, со студиями: "Нет, нет, нет, нам нужно, чтобы ты играл суровых парней", — а я пытался придумать, как бы мне все-таки сыграть в настоящей комедии".

Три года назад, когда на просмотре Арнольд встретился с Рейтмэном, ему представился такой шанс. Он вспоминает, как оттащил режиссера в сторону и сказал: "Я бы с удовольствием сделал с вами фильм". Рейтмэн тут же дал задание команде сценаристов предложить ему различные варианты. Самым обнадеживающим оказался сценарий про чудовище, искусственно созданное на основе спермы шести гениев и, следовательно, наделенное самыми совершенными чертами рода человеческого. Однако эксперимент не удается: у "подопытной" матери рождается не один ребенок, а двое близнецов, второй из которых становится носителем всего генетического "хлама" человечества.

Есть доля иронии в том, что своим наивысшим актерским достижением Арнольд считает именно роль в "Близнецах" — роль человека, ставшего самым совершенным продуктом научного творчества. Арнольд, которому сейчас сорок один год, сам, можно сказать, продукт не менее замечательного эксперимента, задуманного двадцать пять лет назад, когда он, еще подросток, жил где-то среди урбанизированных долин в юго-восточной Австрии. Разница лишь в том, что в те далекие времена Арнольд Шварценеггер был сразу и творцом и произведением.

Главной фигурой в жизни подростка был, бесспорно, его отец

Густав, "человек сильный и считающий силу", как говорит о нем один из близких людей Арнольда. Герр Шварценеггер был начальником районной полиции и свято верил в дисциплину. Когда Арнольд и его старший брат Майнхард едва-едва научились ходить, отец придумал для них напряженное расписание спортивных занятий. В намерения старшего Шварценеггера входило, чтобы Арнольд стал профессиональным футболистом.

Арнольд признает, что между ним и братом существовало соперничество. "Разница в возрасте у нас было всего год. И в спорте, и в школе мы старались перегнать друг друга". Боролись ли они за то, чтобы заслужить одобрение отца? "Это домыслы, — морщится Арнольд. — Для ребенка такие умозаключения сложноваты" (Арнольд не поддается ни на какие песни сирен про самоанализ).

По-видимому, Арнольд не испытывал материальных затруднений. В доме его семьи, расположенном в предместье большого города Граца, были и произведения искусства, и антиквариат. И все же он утверждает, что до четырнадцати лет не наслаждался такими предметами роскоши, как телефон или современная канализация. Джордж Батлер, режиссер фильма "Накачивая стальные мускулы", познакомившись в 1977 году с родственниками и друзьями детства Арнольда, утверждает: "Я не уверен, что Арнольд нуждался, но он выходец из весьма примитивной среды. Полагаю, это все время сказывается".

Движущей силой для Арнольда Шварценеггера был, судя по всему, избыток энергии, не находив-

шей применения. "Я был вроде той огромной машины, которой некуда ехать, — объясняет он. — Я мог ехать, но мне нужно было задать себе направление и разобратся, какой будет конечная цель". В пятнадцать лет он встал против отца, бросил футбол и принялся искать образец для подражания.

Нашел он его в кино. Но не в таких фильмах, как "Римские каникулы" или "Правила игры", а в таких, как "Геркулес против Рима", "Геркулес в стране призраков", "Геркулес и пленница", "Геркулес против жителей Луны". Восхищение "звездами" этих второсортных лент, особенно Рэгом Парком, бывшим культуристом, добившимся успеха в кино и бизнесе, побудило Арнольда собирать журналы о культуризме и даже развесить по стенам спальни фотографии мускулистых гигантов, из-за чего его родители так заволновались, что, как говорят, даже обсуждали, не отвести ли его к психиатру. "Прошел год, — говорит Арнольд, — и я понял, в каком направлении хочу двигаться".

Отбросив былые опасения, родители все же купили ему набор гирь. И тогда Арнольд приступил к переделке своего облика — этот процесс он сравнивал с лепкой. В результате работы получился шедевр: мужская фигура ростом 6 футов 2 дюйма (186 см), которая в момент достижения пика формы характеризовалась объемом груди 57 дюймов (145 см), талии — 31 дюйм (79 см) и объемом бицепса 22 дюйма (56 см). В восемнадцать лет он отправился в Штутгарт впервые принять участие в международном сорев-

новании и получил титул "Мистер Европа" среди юниоров, в результате чего впал в эйфорическое состояние: "Мне казалось, я Кинг-Конг".

В 1968 году он оказался в поле зрения американца Джо Уэйдера, издателя журнала "Масл энд фитнесс" и самого рьяного проповедника культуризма в мире. Уэйдер привез Арнольда в Америку, дал ему прозвище "Австрийский дуб" и поселил в Санта-Монике, этой мекке культуризма. Тогда же он доставил ближайшего друга Арнольда итальянского культуриста Франко Колумбу, известного также как "Самсон из Сардинии". Оба жили в одной квартире недалеко от "Голд-джим".

Колумбу вспоминает, что в начале своей карьеры Арнольд Шварценеггер был весельчаком-экстравертом, "воплощением очарования и заразительного смеха". Добродушие, однако, не исключало отчаянной, даже жестокой решимости там, где речь шла о состязаниях. "Он никогда не говорил: "Я буду соревноваться" — всегда только: "Я буду побеждать", — рассказывает Колумбу.

"Однажды, — продолжает он — мне на грудь упала штанга весом 500 фунтов (225 кг). Я бросил взгляд на Арнольда, как бы прося: "Помоги же". Он вышел из зала и стал смотреть в окно, сказав: "Дай знать, когда выдохнешься, я подожду". Благодаря такой изнурительной тренировке мы добились невероятных результатов". Правда, хорошие результаты достигались не только упорной тренировкой, Арнольд признает, что пользовался стероидами. Но, утверждает он: "В очень ограни-

ценных количествах” — и заявляет, что никаких побочных эффектов никогда не испытывал.

В то время как Арнольд продолжал лепить “Австрийский дуб”, упорно работая и применяя стероиды, он одновременно придумал для себя еще один образ и под именем Арнольда Стронга принимал заказы по почте на доставку пособий по культуризму и всего необходимого для этого вида спорта. Когда предприятие Арнольда Стронга принесло очередную прибыль, он вкладывал деньги в недвижимость.

Судя по всему, Арнольд стал миллионером, когда ему еще не было и тридцати. Он “помешался” на Америке, говорит Арнольд и рассказывает, как однажды, затосковав по дому, поехал в Австрию. “Через неделю, — вспоминает он, — я уже не мог дожидаться, когда же вернусь в Соединенные Штаты. В США все намного приятнее из-за того, что в людях здесь нет предубеждения, они восприимчивы, всегда позитивно настроены. Что бы ты ни затеял в Европе, всегда услышишь: “Невозможно. Никто никогда такого не делал”. Они больше не стремятся к новым завоеваниям, новым достижениям, я понял, что мне намного ближе американский дух”.

Если карьере Арнольд сделал благодаря “американскому духу”, то имя он составил себе благодаря “стальным мускулам”. В начале 70-х годов он был легендой среди силачей, но как вид спорта культуризм тогда еще не сформировался и не был признан. Джордж Батлер, который был в то время независимым фотографом и выполнял задание для “Oui”,

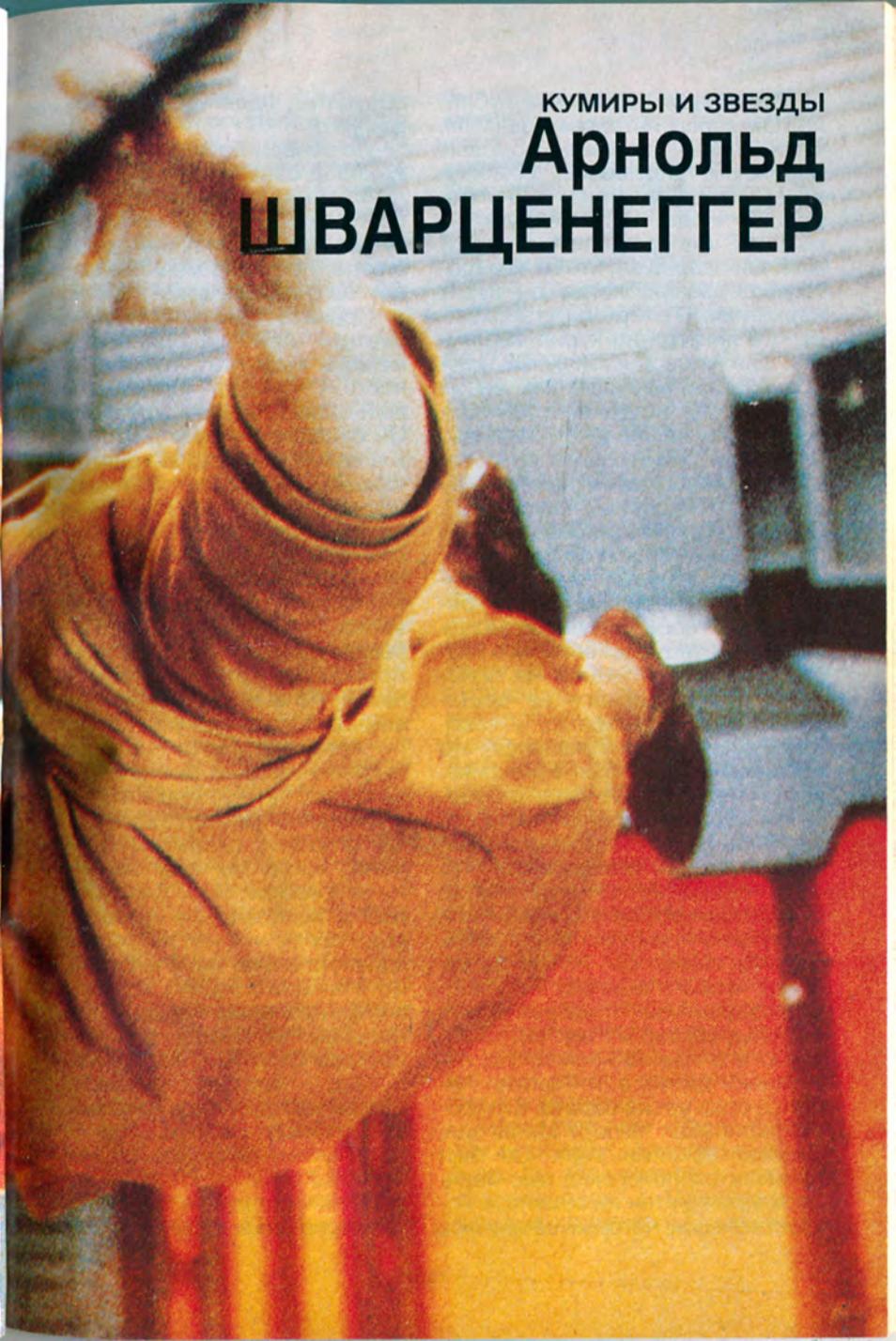
встретился с Арнольдом в Бруклине в 1972 году на соревнованиях за титул “Мистер Олимпия”. Он увидел его за сценой в окружении девушек, участвовавших в чем-то вроде конкурса “Мисс Бикини”.

“Это была самая пошлая сцена, какую только можно вообразить, — вспоминает Батлер, — но было очевидно, что Арнольд — “звезда”. Его присутствие производило невероятное впечатление”.

Вместе со своим партнером Чарлзом Гейнзом он предложил Арнольду сделать его главным действующим лицом в книге и, возможно, документальном фильме о культуризме, и тот согласился. Эту затею тем не менее не так-то просто было осуществить.

“Арнольд занимался спортом, который никто не любил, а внешность его производила на людей отталкивающее впечатление, — объясняет Батлер. — Самой большой проблемой тогда стал страх прессы перед гомосексуализмом: “Все, кто занимается “культуризмом”, — гомосексуалисты. Мы не хотим иметь к этому никакого отношения”. (Арнольд, как замечает Батлер, неисправимый, восторженный гетеросексуалист).

Опубликованная все же осенью 1974 года книга “Накачивая стальные мускулы” сразу стала бестселлером, а через три года, когда появился фильм, имя Арнольда Шварценеггера было известно в каждом доме. Арнольд энергично участвовал в рекламной кампании. Он рекламировал себя в двух качествах — Арнольда-силача, вызывающего восторг у рьяных культуристов, и в то же время светского Шварценеггера, имидж которого импо-



КУМИРЫ И ЗВЕЗДЫ
**Арнольд
ШВАРЦЕНЕГГЕР**

нировал рафинированной публике. Он давал интервью, заявляя, что не отказывает себе в ромовых пирожных. Ощущение, возникающее, когда наполненная кислородом кровь циркулирует в мышцах, он сравнивал с оргазмом. Он разрешал, чтобы его фотографировали, когда он курит наркотики. (Теперь он утверждает, что никогда не курил марихуану для удовольствия). Он избрал "придуманые", как он их сам называл, истории, чтобы подкрепить ходившие о нем легенды.

Самую шокирующую он поведал однажды перед камерой на съемках "Стальных мускулов". Желая проиллюстрировать свою преданность спорту и силу воли, Арнольд с наисерьезнейшим видом рассказывал, как был за границей на соревнованиях, когда умер его отец. И вместо того чтобы отправиться домой на похороны, он отправился на состязания. "После интервью, — говорит Батлер, — он признался, что на самом-то деле был в Мексике, когда умер отец. Он узнал о смерти отца через неделю после похорон и не мог поехать домой. Правда, я не сомневаюсь, что будь перед Арнольдом выбор выиграть мировой чемпионат или поехать на похороны отца, он наверняка сказал бы: "Отец бы захотел, чтобы я выиграл".

Невероятной известностью Арнольд обязан и тому, сколь искусно его преподносили. По настоянию Батлера и Гейнза Арнольд брал уроки балета. Его фотографировал Роберт Мэплторп, рисовал Джейми Уайт. Он был главным экспонатом в нью-йоркском музее Уитни на семинаре искусствоведов, которые собрались

обсудить идеальную мужскую фигуру.

По словам Батлера, в то время Арнольд Шварценеггер был трогательно наивен. "Он еще столько всего не знал! Он не знал, как нужно одеваться. Как заказать блюдо, прочитав меню, и многое другое в том же духе".

Проявив свою обычную инициативу, Арнольд принялся возмещать недостаточную утонченность. Он нашел портного, который одевал его как аристократа. Он спрашивал совета, что читать и в какие рестораны ходить. Однажды, вспоминает Батлер, Арнольд спросил его, где тот останавливается в Нью-Йорке. Батлер ответил, что предпочитает "Элгонкин", старую элегантную гостиницу, где частенько останавливается литературная элита. Ему было забавно узнать, что позднее Арнольд не только сам там поселился, но и привел за собой восемьдесят других культуристов.

"Арнольд учится едва ли не быстрее всех в истории человечества", — говорит Батлер.

Недавно Батлер показал ему фотографии, сделанные во времена, когда он еще занимался культуризмом. "Но, Джорджи, — якобы пожаловался Арнольд, — ведь среди них нет фотографий, запечатлевших меня в Белом доме. Нет фотографий, на которых я с Джеральдом Фордом или Рональдом Рейганом... где я с Сильвестром Сталлоне или Кеннеди".

"Да, — подтвердил Батлер, — потому что они сделаны примерно тогда, когда мы работали над "Стальными мускулами". На что Арнольд ответил: "Я не хочу, чтобы меня запомнили таким".

Обстановка офиса Арнольда

красноречиво говорит о том, каким бы он хотел остаться в памяти. Три стены вокруг огромного дубового стола увешаны фотографиями, запечатлевшими последовательное перевоплощение Арнольда. Несколько снимков, повествующих о юности Колумбу и Лу Ферриньо, обессмертили Арнольда-культуриста. Там есть и упомянутые фотографии Арнольда вместе с Рональдом Рейганом, Джеральдом Фордом, с членами семьи Кеннеди, обессмертившие Арнольда — светского льва. Есть фотографии Арнольда на съемках "Терминатора" или "Бегущего человека" — дань Арнольду-суперзвезде.

Показательно, что в этой галерее не видно снимков, которые бы относились к первым дням его кинокарьеры, когда его не хотели приглашать из-за длинного имени и плохого знания английского.

Шварценеггер воспользовался своими мускулами как пропуском в мир кино. В 1969 году Джо Уэйдер, его наставник в области культуризма, взял его в Нью-Йорк попробоваться на роль в фильме "Геркулес спятил" (название потом изменили на более стильное "Геркулес в Нью-Йорке"). В фильме его реплики дублировались. "Время от времени, — говорит Арнольд, закатывая глаза, — мне звонят по телефону человек двадцать и со смехом сообщают: "Мы видели эту невыносимо мерзкую штуку по телевизору".

Чаще же Арнольду просто не давали говорить. Четыре года спустя в "Долгом прощании" Роберта Олтмена он играет силача, который безмолвно дубасит Эллиота Гульда. В "Злодее" у него

была роль красивого незнакомца, который занимался только тем, что с каменным лицом сидел в шарабане рядом с Энн-Маргарет. Один критик заметил, что лошадь была куда выразительнее Арнольда.

Если мускулы стали пропуском в кино, то они же мешали ему в серьезных ролях. Работая над картиной "Оставший голодным" по роману Чарлза Гейнза о культуристах Юга, режиссер Боб Раффелсон искал кого-нибудь на роль нежного гиганта по имени Джо Санто. "Он упорно не желал брать Арнольда, — рассказывает Гейнз. — Его отношение было примерно таким: "Это исключено. Мы не станем снимать в роли главного героя значительного фильма какого-то австрийского неуча-культуриста". Когда я привел Арнольда домой к Бобу — Арнольд ведь может хоть змею околдовать, — тот увидел кое-какие перспективы". В конце концов Шварценеггер получил роль, но Джо Санто превратился во второстепенную фигуру.

Когда Батлер предложил Нэду Таннену, который тогда работал в компании "Юниверсл", сделать фильм "Накачивая стальные мускулы", ответ тоже был отрицательным. По словам Батлера, Таннен ответил: "Вы пытаетесь эксплуатировать беднягу Шварценеггера. Нет никаких шансов, что этот парень когда-нибудь добьется успеха в кино". (Таннен говорит, что не припоминает эту встречу с Батлером).

Через пять лет после "Стальных мускулов", Арнольд снялся у Дидо Де Лаурентиса в картине "Конан-варвар". Продолжение, "Конан-разрушитель", принесло

доход в 100 миллионов долларов по всему миру (31 млн. долларов в США). По сжато определению Арнольда, Конан стал для его карьеры "даром господним".

"Даже во время Конана, — утверждает Арнольд, — мне хотелось сыграть что-нибудь смешное". Он вспоминает, как спорил с режиссером Джоном Милиусом, которому Конан представлялся честным варваром, способным, не моргнув глазом, произнести ницшеанское занудство вроде: "То, что не убивает меня, делает меня сильнее". Арнольд сам добавил кое-какие комические черты, например, позволил пьяному Конану уронить голову в тарелку с супом. "Над этим здорово смеялись, — говорит он хихикая. — А парень-то, который так хорошо владеет мечом, совсем не владеет собой".

Но фильм, раз и навсегда изменивший ход карьеры Арнольда, — это "Терминатор", фантастический триллер режиссера Джеймса Кэмерона. Арнольд сразу оказался среди международных "звезд" первой величины.

"Кэмерон очень остроумно подошел к работе над "Терминатором", — говорит Арнольд. — Он писал так, чтобы было смешно. "Я вернусь". Ему хотелось, чтобы я произносил эту реплику как машина, очень медленно, очень четко, очень жутко. Со временем мы поняли, что зрителям больше нравится юмор, а не действие, потому что в анкетах, отвечая на вопрос о любимой сцене, они всегда называли какую-нибудь смешную. Мы как бы дали понять кинобизнесу, что теперь необязательно торговать мускулами, можно просто торговать Арнольдом".

"Терминатор", — продолжает

Арнольд, — автоматически поднял цену на меня вдвое". Только за последние два года гонорар Арнольда за одну картину возрос с 2 до 10 миллионов долларов. Благодаря "Терминатору" он смог сменить набедренную повязку на кожаную куртку (в контрактах теперь специально оговаривается вопрос о съемках обнаженным). Но самое важное, по мнению Арнольда, то, что "Терминатор" позволил ему перейти к исполнению более сложных ролей.

"Я всегда считал, — размышляет Арнольд, — что лучше всего обеспечить себе верных поклонников среди зрителей, тех, кто будет неизменно приходить на фильм с твоим участием. Если хочешь, чтобы они не изменили тебе, нужно показывать им то, что им нравится. Это не означает, что нельзя каждый раз добавлять процентов на десять чего-нибудь нового, постепенно заставляя их таким образом взглянуть на тебя с другой стороны".

Если последующие фильмы, такие, как "Хищник" и "Бегущий человек", и принесли кассовый успех, эксперименты Арнольда в области "нового" не всегда были удовлетворительны. Домашний очаг, которым его пытались снабдить в "Нечестной сделке", оказался слезливой помехой развитию действия. Попытки наделить его героя романтическими чувствами, как в "Комmando", ни к чему не привели. Говорят, Арнольд настолько неуверенно провел любовную сцену с актрисой, что эпизод пришлось вырезать.

Таковыми же бесславными оказались и попытки полностью

лишить его человеческих чувств — своего рода возврат к "Терминатору". "Красная жара", где он играет безжизненного русского стража порядка, стала самым большим коммерческим провалом после неудачи 1985 года ("Красный Сондзя").

Подобрать роль, соответствующую амплу Арнольда, амплу, границы которого кто-то из режиссеров определил как простирающиеся "от Фреда Астера до Брюса Ли", — задача-головоломка. Айвон Рейтмэн признает, что над постановкой некоторых сцен в "Близнецах" работали "невероятно тщательно". В одной из сцен требовалось, чтобы Джулиус, только что потерявший невинность, изобразил на лице блаженный шок. Рейтмэн велел Арнольду неподвижно лежать и смотреть в одну точку, пока он руками придавал его лицу нужное выражение.

В числе прочих знаменитостей, заглянувших на съемки "Близнецов", была и Мария Шривер, которая даже получила маленькую роль — женщины, покупавшей цветы (эти кадры остались на полу в монтажной). Ее персона весьма богато представлена в "картинной галерее" ее мужа. На стене позадн стола — сияющая, царственная Мария с бирюзовыми глазами, ее угловатое лицо обрамляет пышная темная шевелюра. Портрет этот выполнил Энди Уорхол весной 1986 года, как раз перед бракосочетанием Шривер и Шварценеггера. Портрет и длинный шелковый флаг кажутся двумя символами триумфа Арнольда в Америке.

Теперь Арнольду хочется, чтобы все считали, что членом клана Кеннеди он стал в результате

совершенно естественного, хотя, быть может, и счастливого хода вещей. ("Это как судьба, — говорит он о их встрече, — будто это было predetermined"). Правда же тем не менее состоит в том, что пресс-атташе Арнольда выклянчил для него приглашение на теннисный турнир памяти Роберта Кеннеди в 1977 году, и именно там тот познакомился со своей будущей невестой.

Мария пригласила его в Хейнис-Порт на уик-энд, и он оказался на борту семейного самолета, не успев даже забрать чемодан из гостиницы. "Я сказал: "У меня с собой даже одежды нет", — а они возразили: "Тебе и не нужно, мы только катаемся на водных лыжах, ходим под парусом, гуляем и занимаемся спортом". "Естественно, — вспоминает Арнольд, — одежда мне понадобилась, да еще какая, потому что в тот же вечер устраивали званый обед. А на следующее утро все они, разодетые, отправились в церковь".

Его взаимоотношения с Марией, однако, начали бурно развиваться лишь на следующий год, когда он занимался рекламой какой-то книги в Вашингтоне. Она зашла за ним в отель и пригласила на обед в Джордж-таун. Был канун Дня всех святых, и она была наряжена в костюм цыганки. По мнению Арнольда, Мария "была сказочно хороша".

На протяжении последовавших за этим восьми лет ухаживания Арнольд якобы настаивал, чтобы они с Марией жили врозь из уважения к ее католической семье. Еще до того как Арнольд стал кинозвездой, Мария была его самым энергичным болельщиком. Джордж Батлер рассказывает,

как в 1980 году Арнольд, который уже ушел из спорта, не удержался и принял участие в соревнованиях за звание "Мистер Олимпия" в Австралии. "Она так громко визжала на трибуне, что было даже неудобно. Она изо всех сил поддерживала Арнольда! Это было очень трогательно".

Немало культуристов было приглашено на их свадьбу в апреле 1986 года (а предварительно на холостяцкую вечеринку, во время которой Арнольда заковали в цепи и вручили его госпоже). Франко Колумбу был шафером. В число приглашенных попал и Джим Лоример, один из деловых партнеров Арнольда в сфере туризма. "Когда человек не забывает старые связи, — считает Лоример, — это о чем-то говорит".

Сарджент Шривер, отец Марии, шутил на свадьбе дочери, что сделает нечто такое, чего никогда не случалось в Хейннис-Порте, а именно — прочитает телеграмму от республиканца. Затем он передал наилучшие пожелания от президента Рейгана, которому было отправлено приглашение.

(Арнольд пригласил на свадьбу и австрийского президента Курта Вальдхайма, на которого как раз начинали нападать из-за его возможных связей с нацистами. Арнольд утверждает, что Вальдхайм не является его личным другом, а приглашение было послано ему "автоматически", так же как множеству сенаторов, губернаторов, руководителей государств и папе Иоанну Павлу II. Ни Вальдхайм, ни папа так и не доехали до Хейннис-Порта.)

То, что убежденный республиканец Шварценеггер оказался в доме Кеннеди, остается неле-

постью. Арнольд не нахвалится Рональдом Рейганом, которому ставит в заслугу то, что он сделал страну "сильной".

В последнее время поведение Арнольда для демократически настроенной семьи его жены стало еще более серьезным испытанием. Он агитировал за Джорджа Буша, присутствовал на национальном съезде республиканцев, заглянул на ленч, устроенный Национальной Ассоциацией Стрелков. Я спросила Арнольда, пытался ли Тедди Кеннеди, пламенный сторонник установления контроля за хранением оружия, уговорить его не ходить. Арнольда возмутило такое предположение: "Даже и не думайте об этом!" (Представитель Кеннеди по вопросам "внутрисемейных отношений" утверждает, что "сенатор никогда не стал бы вмешиваться".)

То, что Мария, как одна из ведущих программ Эн-би-си "Сандитудэй" ("Сегодня воскресенье"), проводит большую часть времени в Нью-Йорке, а штаб-квартира Арнольда расположена в их доме на Западном побережье, придает особую остроту их отношениям.

"Когда они вместе, они ведут себя, как маленькие дети, — говорит их общий друг Хэрри Джей Кац. — Просто замечательно". Говорят, оба они — люди волевые, и не секрет, что между ними бывают жаркие споры. Но те, кто знаком с четой Шварценеггер — Шривер, утверждают, что ссоры — это лишь продолжение игры. Франко Колумбу рассказывает, что когда Мария сердится, Арнольд просто уходит из дома и зовет кого-нибудь из старых друзей выпить пива.

Между ними царит дух соревнования, особенно в теннисе, где Арнольду ни разу не удалось побить Марию. "Она разделяет его в пух и прах", — вставляет Колумбу.

Вопрос тем не менее остается открытым: почему Арнольд Шварценеггер? Даже Джонни Вейсмюллер и Стив Ривз не смогли столь потрясающе превратиться из спортсменов в суперзвезд. Какие качества помогли этому австрийцу с длинным именем и сильным акцентом победить американцев у них же дома?

Конечно же, обаяние и умение адаптироваться плюс сила воли. "Напор Арнольда столь силен, он настолько вкладывает в него все себя, что ему трудно в чем-либо отказать", — считает продюсер Элберт С. Радди, отмечая желание Арнольда самому участвовать в рекламе своих фильмов. "Среди больших "звезд" он один из немногих, кто приложит максимум усилий, чтобы его фильм хорошо прошел за границей. 50 процентов общего дохода фильма составляют деньги, полученные именно в результате этого".

На съемках Арнольд тоже занят делом. "У него действительно хорошие профессиональные манеры, — говорит Мактирнан, режиссер "Хищника". — Он вовремя появляется, знает текст, обожает репетировать, когда есть такая возможность. Так же, как прежде он развивал мускулы, теперь он развивает свои актерские навыки. И вот он уже может играть в комедии".

Эксперимент породил нового Шварценеггера — комика Арнольда. "Полагаю, "Близнецы"

будут иметь успех", — считает он.

"По-моему, он был бы одним из великих голливудских продюсеров, — мечтает Джордж Батлер. — Это такой организованный человек, я думаю, он очень тонко чувствует, чего хочет широкая публика. А еще мне кажется, ему следует выставить свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии".

Арнольд действительно стал продюсером фильма про сержанта Рока, героя американских комиксов.

Что же касается политики, то бывший культурист, который к тому же говорит с акцентом, достаточно невероятная кандидатура на пост губернатора или сенатора (Арнольд получил американское гражданство в 1983 году). Но, с другой стороны, его ничуть не легче было представить светским львом или кинозвездой. "Разве это не соблазнительная перспектива?" — спрашиваю я.

Арнольд возражает: "Я много зарабатываю. У меня идеальная жена. Я свободен. Как может какая-то перспектива быть соблазнительной, когда ваша жизнь идеальна?" И все же он признает, что "это великолепная идея, что общественно-политическая деятельность могла бы приносить радость, пожалуй, это стало бы для меня самым сложным испытанием". И с этими словами "Австрийский дуб", сидя на фоне собственных фотографий, большого американского флага, написанного Уорхолом портрета жены Марии, кладет руки на свой огромный стол и замирает...

Перевод с английского
Марии ТЕРАКОПЯН

Спасибо за то, что я молод...

Геннадий ФРОЛОВ

Я любил романы, где злодеи
Против благороднейшей семьи
Строили, от ярости бледнея,
Козни бесконечные свои.
Но старанья были их напрасны:
Появлялся плачущий отец
И подкидыш –

юноша прекрасный! –

Становился графом наконец,
Получал наследство и невесту,
Уваженье близких и друзей, –
И рыдал их родственник

бесчестный

Над судьбой

бессмысленной своей.

Я тогда сочувствовал герою.
Да и как иначе, он – герой!
Но все чаще думал я, не скрою,
О несправедливости земной,
О страстях, живущих в человеке,
И о том – кто скажет? – почему
То дано с рожденья одному,
Что другому не видать вовеки.

Цветут необъятные липы,
В воде зеленеет луна,
И тусклые звезды, как рыбы,
Белеют у самого дна.

Метнешься на юг и на запад,
На север рванешь и восток,
А все этот царственный запах –
Нет-нет да всплывает меж строк.

Пусть многое пало в осадок,
Осело на самое дно,
Пусть эту аллею к горсаду
Вырубили давно.

Но бросишь и запад, и север,
Востоку и югу не рад
И снова на площади серой
Стоишь, попирая асфальт.

Твердя над асфальтом унылым,
Где прежде цвели деревья:

"Все есть,
что когда-нибудь было!" –
Не вдумываясь в слова.

Как некое общее место,
Легко их внушая уму.
А сердцу и так все известно,
Без слов все известно ему.

СОН

А он стреляет из ружья,
А ты стреляешь из ружья,
А я стреляю из ружья, —
Никто не попадает!
А там стоят его друзья,
А тут стоят твои друзья,
И все вокруг — мои друзья, —
А друга не хватает!
А ночь повисла над тобой,
А ночь повисла надо мной,
А ночь повисла над страной, —
Как долго не светает!
И он идет, смеясь, домой,
И ты идешь — к нему домой,
И я иду — к себе домой, —
А дома нет как нет!...

* * *

Над острой оградой чугунной
Из мерзлого мрака летят
Горящие листья — и юно
Гремят каблук об асфальт.
Пуста предрассветная площадь,
А город ветрами залит.
Он кленами гулко полощет
И липами звонко скрипит.
Ах, право, ах, что это значит?
Откуда восторг и испуг?
Ведь это любовь — не иначе! —
Грачи улетают на юг.
А ветер — и вязок, и едок —
Врывается в грудь на бегу!
Дай губ твоих жар напоследок —
Я годы его сберегу!
Спасибо за сырость, за холод,
За путь через город домой,
Спасибо за то, что я молод
И жизни не знаю иной!
За то, что в смятении диком
В нетающий утренний мрак
Кричу я дурашливым криком,
Пугая уснувших собак!..

* * *

За окном бушует вьюга,
На окне все толще лед.
Здесь давно уже ни друга,
Ни подруги он не ждет.

Где-то за полночь проснется,
В тазе вымоет лицо.
А потом вдруг встрепенется
И рванется на крыльцо.

Что мои тоска и горе?
Сердце вздрогнет, заболит,
Как на близком косогоре
Колокольчик загремит.

Кто там едет? Что он ищет?
По каким делам спешит?
Радость? Нет ли? — Вьюга свищет
Да соломою шуршит.

Радость? Нет ли? — Вьюга гуще!
И давно ушедший миг:
Пар морозный, Пушкин, Пущин! —
Кто к кому из них приник?

То ли было? Так ли было?
Все быльем позаросло.
Утонуло в клубах пыли,
С новым снегом отошло.

Ну, да что! Уйдем тревогу,
Сбросим тяжесть и легко
Лучше выйдем на дорогу
И посмотрим далеко.

За кустарником, за полем
Речки серое стекло,
Галки кружатся на воле,
Небо зимнее светло.

И вокруг его словами
Ветер с лесом говорит,
И звезда его над нами
Ярким пламенем горит!

* * *

*Куст герани на окне,
Пожелтевший от мороза,
Как поэзии во мне
Удивившаяся проза.*

*Я полью его водой,
Отстоявшейся в бутылке.
Вот слиянье мировой
Жизни в страстном поединке.*

*В гроздь сжатые цветы:
Тот увял, а этот – свежий.
Из рассветной темноты
Луч зари невнятной брезжит.*

*Льется струйкою вода
Из бутылки наклоненной.
Верещит сковорода
Над конфоркой раскаленной.*

*Оторву сухой листок,
Ветвь увядшую сломаю.
Список дел в пятнадцать строк
Между делом набросаю.*

*Стужа мерзлое стекло
Сплошь цветами покрывает.
Как бы время ни текло,
Вечность все не убывает.*

*Вновь в бутылку налью воды,
Пусть до завтра отстоится.
Сяду у сковороды,
Чтоб картошкой подкрепиться.*

*Выйду из дому потом,
О герани позабывши.
Вьюга мокрым сквозняком,
Словно пес, в лицо задышит.*

*И застынет в тишине,
Снега лет прервав стрекозий,
Как поэзия во мне,
Удивившаяся прозе.*

НАШЕ ВЕЧНОЕ

УЧЕНИЕ ХРИСТА,

изложенное для детей.

Составил
Л. Н. ТОЛСТОЙ

Продолжение. Начало в № 1.

И случилось раз Иисусу слышать, как люди рассказывали про то, что Пилат убил галилеяна, и еще про то, как завалилась башня и задавила 18 человек. И Иисус сказал на это народу: что, как вы думаете, были в чем-нибудь особенно виноваты эти люди? Мы все знаем, что люди эти были ничем не хуже нас. И то, что с ними случилось, может всякую минуту случиться и с нами. Все мы не нынче-завтра также можем умереть. Смерти нам не миновать, так и нечего нам беречь свою плотскую жизнь. Ведь мы знаем, что она скоро кончится. Беречь нам надо то, что не умирает — жизнь духа.

И сказал на это Иисус такую притчу:

Была у хозяина в саду бесплодная яблоня. Хозяин и говорит садовнику: вот, три года хожу, и яблоня эта все без плода. Надо срубить ее, а то она только напрасно место занимает. А садовник говорит: погодим еще, хозяин, дай я ее окопаю, обложу навозом, и посмотрим на лето. Может, и даст плод. А и на лето не даст, ну, тогда срубим.

То же и с нами. Пока мы живем одной плотью и не приносим плода жизни духа, Хозяин не срубает нас, не предает нас смерти, потому что ожидает от нас плода — жизни духа. А не принесем плода, то не миновать погибели. Чтобы понять это, не нужно никакой мудрости; всякий это сам видит. Ведь не то, что в домашних делах, а и в том, что на всем свете делается, умеем мы рассуждать и вперед догадываться. Если ветер с запада, мы говорим: к дождю, и так и бывает. А ветер с полдня, мы го-

ворим: к вёдру, — и так и бывает. Что же, мы погоду узнавать умеем, а того вперед угадать не можем, что все мы помрем и что беречь нам надо не умирающую жизнь тела, а не умирающую жизнь духа.

18

И в другой раз Иисус сказал народу притчу о том, чему подобна жизнь человеческая. Он сказал:

Был один богатый человек, и надо было ему уехать из дома своего. И вот перед отъездом призвал он рабов своих и роздал им десять фунтов серебра, каждому по одному, и сказал: работайте каждый над тем, что я дал, пока я буду в отлучке. Сказал так и уехал. И когда он уехал, рабы стали свободны и жили, как хотели. И вот, как вернулся этот богатый человек из отлучки, призвал он рабов своих и велел им сказывать, что каждый сделал с его серебром. Пришел первый и говорит: вот, хозяин, на твой фунт серебра я заработал десять. И сказал ему хозяин: хорошо, добрый слуга, ты в малом был верен, я над большим тебя поставлю, будь заодно со мной во всем моем богатстве.

Пришел другой раб и сказал: вот, хозяин, на твой фунт серебра я заработал пять. И сказал ему хозяин: хорошо сделал, добрый раб, и ты будь со мной заодно во всем моем имени.

Пришел и третий раб и сказал: вот тебе, господин, твое серебро, я его завернул в платок и берег его у себя, потому что знаю тебя: ты человек строгий, берешь, где не клал, и собираешь, где не сеял, и я боялся тебя. И хозяин сказал: глупый раб, твоими словами буду судить тебя. Ты говоришь, что из



Иллюстрации из книги "История Библии". XVIII век.

страха передо мной берег мое серебро у себя и не работал над ним? Если ты знал, что я строг и беру там, где не клал, так зачем же ты не сделал того, что я велел тебе сделать? Если бы ты работал на мое серебро, имения бы прибавилось, и ты исполнил бы то, что я велел тебе. Теперь же ты не сделал того самого, зачем я давал тебе серебро, и потому тебе нельзя и владеть им.

И велел хозяин взять серебро у того, кто не работал над ним, и отдать его тому, кто больше работал. И тогда слуги сказали хозяину: господин, у тех и так много. Хозяин же сказал: дайте тем, кто много работал, потому что тому, кто блюдет то, что дано ему, прибавляется, а у того, кто не блюдет, у того и последнее отнимается.

Такова и жизнь людей, сказал

Иисус. Богатый хозяин — это Отец. Рабы его — это люди. Серебро — это дух Божий в людях. Как хозяин не сам работает над своим имением, а велит рабам работать каждому на то, что дано ему, так и Отец небесный дал людям дух Свой для того, чтобы они увеличивали его в себе, работали над тем, что было дано им. И разумные люди понимают то, что жизнь духа дана им для того, чтобы служить воле Отца, и увеличивают в себе жизнь духа и становятся участниками жизни Отца. Неразумные же люди, как глупые рабы, боятся потерять свою телесную жизнь и исполняют только свою волю, а не волю Отца, и потому лишаются истинной жизни.

Такие люди теряют то, что есть самого драгоценного, — жизнь духа. И потому нет более вредной

ошибки людской, как то, чтобы признавать жизнь свою в теле, а не в духе. Надо быть заодно с духом жизни. Кто не заодно с ним, тот против него. Надо служить духу жизни, а не своему телу.

19

Привели раз к Иисусу детей. Ученики стали отгонять детей. Иисус увидел это и сказал: — Напрасно вы детей отгоняете. Детей не отгонять надо, а учиться у них надо, потому что они ближе, чем взрослые, к царству Божию. Дети не ругаются, не держат зла, не блудят, не клянутся, ни с кем не судятся, не знают различия между своим народом и чужим. Дети ближе, чем взрослые, к царству небесному. Надо не отгонять детей, а заботиться о том, чтобы не вводить их в соблазны.

Соблазны губят людей тем, что под видом добра и приятности заманивают их в самые вредные дела. Только поддайся человек соблазну, и он губит и тело и душу. И потому лучше пострадать телом, чем попасться в соблазн. Как лисица, попавши в капкан, отгрызает себе лапу, только чтобы спасти себя всю, так и всякому человеку лучше пострадать телом, чем отдаться соблазну. Лучше погибнуть не только руке, ноге, всему телу, только бы не полюбить зла и не привыкнуть к нему. Горе миру от соблазнов. Через соблазны входит все зло в мир.

20

И еще сказал Иисус, что из всех соблазнов самый вредный — это соблазн гнева. Человек гневается на брата своего за грехи его и ду-

мает, что он этим гневом своим может исправить брата от грехов, а забывает то, что никто не может быть судьей брата своего, потому что каждый из нас полон грехов; и что прежде, чем исправлять брата, надо исправить самого себя. А то мы видим соринку в глазу брата, а не видим щепы в своем собственном. И потому, если считаешь, что брат твой поступил дурно, то походи к нему, выбери такое время и место, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, и тогда скажи ему кротко то, что имеешь против него. Если послушает тебя, то он вместо того, чтобы быть врагом тебе, станет твоим другом. Если же не послушает, то пожалей его и уже не имей с ним дела.

И один из учеников спросил: — А если он не послушает и опять обидит меня? Опять простить ему? А если он опять и опять обидит меня и в третий, и в четвертый, и в седьмой раз, неужели все прощать ему?

И Иисус сказал: — Не то что семь раз, а семьдесят раз семь, без конца прощать надо, потому что, как прощает нам Бог все грехи наши, если мы каемся в них, так и нам надо без конца прощать братьям своим.

21

И об этом сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал:

— Стал один богач считаться с своими должниками. И привели ему должника такого, что должен был тысячи рублей. И нечем было ему отдать. И мог богач за это продать и имение должника, и жену, и детей, и его самого. Но стал должник просить милости у богача. И богач помиловал его и

простил весь долг. И вот пришел к этому самому человеку его должник, бедный человек, и стал просить о том, чтобы простил долг его. Но помилованный должник не помиловал своего должника, а потребовал сейчас же уплаты всего долга. И как ни кланялся и ни упрашивал бедный человек, не помиловал его помилованный должник и посадил бедняка в тюрьму. Увидали это люди и пошли к богачу и сказали, что сделал этот человек. Тогда позвал богач должника и говорит ему: я тебе весь долг простил, потому что ты умолил меня. И тебе надо было миловать должника своего за то, что я тебя помиловал. А ты что сделал? И подал богач в суд на должника своего.

То же бывает и с нами, если мы не прощаем от всего сердца всем тем, кто виноват перед нами. Всякая ссора с братом связывает нас и удаляет нас от Отца. И потому для того, чтобы нам не удаляться от Бога, нам надо прощать братьев своих и быть в мире и любви с ними.

22

И пришли раз к Иисусу фарисеи и стали спрашивать его, может ли муж оставлять одну жену и брать другую? И Иисус сказал им на это: — Вы знаете, что дети могут родиться только от одного отца и одной матери. Так это установлено Богом. И потому человек не должен нарушать того, что установлено Богом. Если же человек нарушает то, что установлено Богом, и отпускает жену и сходится с другою, то он делает тройное зло — себе, жене и другим людям. Себе делает зло тем, что привыкает к распутству. Жене делает зло тем,

что, оставив ее, вгоняет ее в грех. Делает зло другим людям тем, что соблазняет их, подавая пример прелюбодеяния.

И сказали Иисусу ученики: — Слишком трудно жить с одной женой. Если так до самой смерти надо жить с одной женой, какая бы она ни была, то лучше уж вовсе не жениться.

И сказал им на это Иисус: — Можно и не жениться; но только, если кто хочет жить без жены, тот будь совсем чистый и не думай о женщинах. Хорошо, кто может прожить жизнь так, а кто не может этого, тот женись и живи до смерти с одной женой и не соблазняйся на других женщин.

23

Один раз подошли к Петру сборщики податей на храм и спросили его: — Что учитель ваш заплатит, что полагается? — Петр сказал, что заплатит. И, услышав это, Иисус сказал Петру: — Как ты думаешь, Петр, царь с кого берет подати — с сыновей своих или с посторонних? — Петр сказал: — С посторонних. — Так вот, если мы сыновья Бога, то нам незачем платить подати. Но чтобы не соблазнять их, отдай им, но не потому, что мы обязаны платить, а только для того, чтобы их не ввести в грех.

В другой раз фарисеи сошлись с царскими чиновниками и подошли к Иисусу, чтобы уловить Его в словах, откажется ли Он от обязанности перед царем. Они сказали Ему: — Ты вот учишь всему по правде, скажи нам, что мы обязаны платить царю подати или нет? — Иисус сказал им: — Покажите, чем вы платите царю пода-



ти? Они показали монету. На монете было царское изображение. И Иисус указал на это изображение и сказал: — Царю отдавайте царское; только Божье, душу свою, никому не отдавайте, кроме как Богу. Деньги, имущество, труд свой, все отдавайте тому, кто будет просить их у вас, но ни для кого не делайте того, что противно закону Бога.

24

Случилось раз, что зашли ученики Иисусовы в деревню и попросились переночевать. Но никто не пустил их. И пришли ученики к Иисусу и рассказали про это и сказали: — Такие дурные люди стоят того, чтобы громом их убило за это.

И Иисус огорчился и сказал: — Вы все не понимаете, какого вы духа. Я учу не тому, как губить, а

тому, как спасать людей. Разве можно желать зла ближнему? Во всяком человеке живет тот же дух Божий, какой и в вас, и потому вы не должны желать зла тому же, что в вас самих.

Другой раз книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, поставили ее перед Ним и сказали: — Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а по закону Моисея таких надо побивать камнями. Ты что скажешь?

Говорили они это, искушая Его. Если бы Он сказал, что надо камнями побить женщину, то это было бы противно Его учению о любви ко всем; если же бы сказал, что этого не надо делать, то сказал бы противное закону Моисееву. Но Иисус ничего не отвечал им, а только, наклонившись низко, чертил пальцем по земле.

Они еще раз спросили Его о том же. Тогда Он поднял голову и сказал им: — Вы говорите, что по закону надо побить ее камнями, — так и сделайте, но только пусть первый бросит в нее камень тот, кто не знает за собой греха. — И, сказав это и опустив голову, опять чертил пальцем по земле. Обвинители же стали уходить один за другим, и остался один Иисус и женщина.

И Иисус поднял голову и, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: — Видно, никто не осудил тебя? — Она сказала: — Никто, Господи! — Так и Я не осуждаю тебя, сказал Иисус. Иди, и впредь не греши.

25

Иисус учил людей тому, что все люди одного Отца дети, и потому весь закон Бога — в любви к Богу и ближнему.

И один законник, зная это, хотел изловить на словах Иисуса и показать Ему, что не все люди одинаковы и что люди разных народов не могут быть одинаково сынами Бога. И он спросил Иисуса:

— Ты учишь тому, что надо любить ближнего. Но кто мой ближний?

И Иисус ответил ему на это притчей. Он сказал:

Был один богатый иудей. И случилось так, что когда иудей этот возвращался домой, напали на него разбойники, избили, ограбили его и бросили на дороге. Проходил иудей священник и видел избитого иудея, но не остановился, а прошел мимо. Проходил и другой иудей, левит, и тоже видел избитого и тоже прошел мимо. И проходил по той же дороге чело-

век из чужого народа, самарянин. И увидел этот самарянин избитого иудея и не подумал о том, что иудеи считают самарян не ближними, а чужими людьми и врагами, а пожалел иудея, поднял его сvez на своем осле в гостиницу, обмыл, перевязал его раны, заплатил деньги за него гостинику и только тогда уехал, когда уже был не нужен избитому.

— Ты спрашиваешь, кто ближний? сказал Иисус. В ком есть любовь, тот считает ближним всякого человека, все равно, какой бы он ни был народа.

26

И учение Иисуса распространилось все больше и больше. И все больше и больше злобились на Него фарисеи. Они говорили народу: — Не слушайте Его. Он сбивает вас. Если жить по Его заповедям, то будет больше зла чем теперь.

Иисус слышал это и сказал им:

— Вы говорите, что если Я учу людей не искать богатства, а быть бедными, не злобиться, не отплачивать око за око и зуб за зуб, и терпеть все и любить все, то Я изгоняю злом зло, что если люди последуют Моему учению, то жизнь их будет хуже, чем прежняя. Вы говорите, что вместо прежнего зла будет новое зло. Но это не правда. Не Я заменяю одно зло другим, а вы изгоняете зло злом. Вы изгоняете зло угрозами, казнями, клятвами, убийствами, но зло все-таки не уничтожается. Оно и не может уничтожиться, потому что никакая сила не может сама себя уничтожить. Я же изгоняю зло не тем, чем вы. Я изгоняю зло добром. Я изгоняю зло тем, что

призываю людей исполнять те заповеди, которые спасут их от всякого зла.

27

Пришли раз к Иисусу мать и братья Его и не могли дойти до Него, потому что много было народа около Иисуса. И один человек увидал их, подошел к Иисусу и говорит: — Твои семейные, мать и братья, стоят наружи, хотят с Тобой повидаться.

Иисус сказал: — Мать и Братья Мои — те, кто знает волю Отца и исполняет ее.

Для всякого человека воля Отца Бога должна быть важнее отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и всего имущества, и самой плотской жизни.

Ведь в мирских делах всякий разумный человек, прежде чем что-нибудь начать, разочтет, выгодно ли то, что он делает, и если выгодно, то делает, а невыгодно, то бросает. Если кто хочет построить дом, то прежде чем начать, сядет и сочтет: сколько нужно денег, сколько у него есть и достанет ли кончить, чтобы не случилось того, что начал строить и не кончил, и только даром потратил и силы и время. И всякий царь, если хочет воевать, то прежде подумает, может ли он с 10000 идти войной против 20000. Если разочтет, что не может, то пошлет послов и замирится, не станет уже воевать.

Так и всякий человек должен понять, что все то, что он считает своим: и семейство, и имение, и самая плотская жизнь его не нынче-завтра отнимется от него. И что его одно, что никогда не отнимется от него — это духовная

жизнь, и что только о своей духовной жизни он может и должен заботиться.

И, услышав это, один человек сказал: — Хорошо, как есть духовная жизнь. А то как мы все отдадим, а жизни этой нет.

На это Иисус сказал: — Всякий знает, что жизнь духа есть и одна не умирает. Вы все знаете это, но не делаете того, что знаете — не потому, что сомневаетесь, но потому, что отвлекаетесь от истинной жизни ложными заботами.

И Он сказал на это такую притчу:

Хозяин приготовил обед и послал работников звать гостей, но гости стали отказываться. Один сказал: я землю купил, надо пойти поглядеть. Другой сказал: я быков купил, надо пахать. Третий сказал: я женился, у меня свадьба. И пришли работники и сказали хозяину, что никто не идет. Хозяин тогда послал звать нищих. Нищие не отказались и пришли, пировали на обеде.

Так и люди знают духовную жизнь только тогда, когда у них нет забот плоти.

28

И раз подошел к Иисусу человек, пал перед ним на колени и сказал: — Учитель благой, скажи мне, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?

Иисус сказал: — Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, только один Бог. Знаешь заповеди, исполняй их.

А человек сказал: — Заповедей много, какие? — Иисус и говорит: — Не убивай, не блуди, не лги, не крадь, не обижай никого, почитай отца и мать.



А человек сказал: — Эти заповеди я исполняю от юности.

Иисус посмотрел на него и полюбил его и говорит: — Одного тебе недостает, — поди и все, что есть у тебя, продай и раздай нищим.

И человек смутился и молча отошел, потому что у него было большое имение.

И Иисус сказал ученикам: — Вот видите, как трудно богатому войти в царство Божие. — Ученики ужаснулись на эти слова, а Иисус еще раз повторил и говорит: — Да, дети, трудно, трудно богатому войти в царство Божие. Легче верблюду пройти в ушко иголки, чем богатому войти в царство Божие. — И они еще пуще ужаснулись и говорили между собою: — Если не иметь ничего, то как же жить после этого, — замерзнешь, умрешь с голоду.

Христос сказал: — Это только кажется страшно плотскому человеку, духовному же человеку это легко. Тот, кто поверит в это и испытает, тот узнает, что это правда.

29

И еще сказал Иисус: — Нельзя служить зараз двум господам: Богу и богатству, воле Отца и своей воле. Надо одно из двух: служить одному или другому.

И фарисеи слышали это, — фарисеи любили богатство и смеялись над этими словами Иисуса. И Иисус сказал им: — Вы думаете, что потому, что вас за богатство почитают люди, что вы и точно почетны. Нет, Бог не смотрит на то, что наружи, а смотрит на сердце. То, что перед людьми высоко, то мерзость перед Богом. В царс

тво Божие входят не богатые, а нищие.

Иисус знал, что фарисеи верят в то, что после смерти люди поступают одни в ад, другие в рай, и сказал им о богатстве такую притчу. Он сказал:

Был один человек, очень богатый; он каждый день гулял, рядился и веселился. И жил в том же месте нищий и коростовый человек, по имени Лазарь. И приходил Лазарь во двор богача, надеясь, не останутся ли объедки от богачева стола; но и объедков Лазарю не доставалось, богачевы собаки все подьедали, да еще и Лазарю облизывали стружья. И вот умерли оба: и Лазарь и богач. И вот в аду увидал богач вдалеке Авраама, и смотрит — Лазарь коростовый с ним сидит. Богач и говорит: Авраам, батюшка, тебя я беспокоить не смею, а вижу, с тобою сидит Лазарь коростовый, тот, что у меня под забором валялся. Так пришли мне его, пускай он палец в воде помочит и даст мне глотку освежить, потому горю я в огне. А Авраам говорит: за что же мне к тебе в огонь Лазаря посылать? Ты в том мире чего желал, то и имел, а Лазарь только горе видел. Да и хотел бы сделать по-твоему, да нельзя. Нет общения между вами и нами. Тогда богач говорит: если так, то пошли ты, батюшка Авраам, Лазаря хоть ко мне в дом. У меня пятеро братьев осталось, так жалко мне их. Пусть он скажет им, что от богатства бывает, а то как бы и они не попали в такую же муку, как и я. А Авраам говорит: они и так это знают. Это и Моисей и все пророки говорили. А богач и говорит: все бы лучше, если бы кто из мертвых воскрес и к ним пришел, — они бы лучше одумались.

А Авраам говорит: если и Моисея, и пророков не слушают, то хоть и мертвый воскреснет, и того не послушают.

30

После этого Иисус ушел в Галилею и жил там с Своими родными. И когда пришел иудейский праздник — Обновление Сени, то братья Иисуса собрались идти на праздник и стали звать с собой и Иисуса. Они не верили в Его учение и говорили Ему: — Вот Ты говоришь, что иудейское служение Богу неправильно, а что Ты знаешь настоящее служение Богу делом. Если Ты точно думаешь, что знаешь то, чего никто, кроме Тебя, не знает, так вот иди с нами на праздник, там народу будет много, там при всем народе и объяви Свое учение. Если все поверят Тебе, тогда и ученикам Твоим будет видно, что Ты прав. А то что же скрываться. Ты говоришь, что наше служение Богу ложно, что Ты знаешь истинное, ну и покажи его всем.

И Иисус сказал им: — Каждому делу свое время. Пойду, когда придет время. — И братья его ушли, а Он остался.

И на празднике было много народа, и народ спорил об учении Иисуса. Одни говорили, что учение Его истинно, а другие говорили, что Он только смущает народ. В половине праздника Сам Иисус пришел в Иерусалим и вошел в храм. В притворе храма стояла скотина — коровы, быки, бараны, и были сделаны садки с голубьями, и сидели за лавками менялы с деньгами. Все это нужно было для того, чтобы подавать жертвы Богу. И Иисус, войдя в

храм и увидав много народа, прежде выгнал скотину из храма, и голубей всех повыпустил, и деньги менял все рассыпал. И потом сказал всем:

— Пророк Исаия сказал: "дом Бога не храм в Иерусалиме, а весь мир людей Божьих". А пророк Иеремия тоже сказал: "не верьте лживым речам о том, что здесь дом Вечного, не верьте этому, а перемените жизнь свою и не судите лживо, не угнетайте странника, вдову, сироту, не проливайте безвинной крови, и не приходите в дом Бога и не говорите: теперь мы спокойно можем делать дурное. Не делайте дома Моего вертепом разбойников. Я, Бог, не радуюсь вашим жертвам, но радуюсь вашей любви между собой". Поймите, что значат слова пророка: живой храм — это весь мир людей, когда они любят друг друга. Служить Богу надо не в храме, а жизнью в духе и добрыми делами.

Все слушали и дивились Его речам и спрашивали друг друга, откуда Он, не учившись, знает все это. И Иисус, услышав то, что все удивлялись Его речам, сказал: — Ученье Мое не Мое, но Того, Кто послал Меня, потому что кто от себя выдумывает, тот ищет славы от людей, а кто ищет того, чего хочет Тот, Кто его послал, тот справедлив, и нет в нем неправды. Я учу вас только исполнению воли Отца. Если станете исполнять эту волю, то узнаете, что не Я выдумал то, что говорю, а что это учение от Бога.

И многие сказали: — Говорят, что Он лживый пророк, а вот Он говорит всем явно, и никто ничего не говорит против Него. Только по одному нельзя верить, что Он

Мессия, посланник Божий, — это потому, что сказано, когда придет посланник Божий, то никто не будет знать, откуда он родом, а мы знаем Его и всю Его родню.

Тогда Иисус сказал им: — Знаете Меня и откуда Я по плотскому, но не знаете, откуда Я по духу. Не знаете, от кого Я по духу, а Его только и надо знать. Если бы вам сказали, что Я Мессия, вы поверили бы Мне, человеку, а не верите Отцу, Который и во Мне и в вас. А надо верить одному Отцу.

31

И многие из народа, увидав все это и услышав Его, говорили: Он точно пророк. Другие же говорили: это Мессия, а иные говорили: разве из Галилеи может прийти Мессия? Сказано в писании, что Мессия придет от сени Давидова из Вифлеема, и от того места, откуда был Давид.

И зашел о Нем спор, и началось волнение в народе.

И тогда первосвященники послали служителей схватить Его, но служители не решились взять Его. И когда они возвратились к первосвященникам и фарисеям, фарисеи сказали им: — Что же вы не привели Его? — Служители отвечали: — Никогда человек не говорил так, как этот Человек. — Фарисеи сказали им: — Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Поверил в Него только народ проклятый. А народ не всегда в законе.

И разошлись все по домам.

Иисус же пошел на гору Елеонскую и там ночевал с учениками а утром опять пришел в храм, и опять много народа пришло слу-

шать Его. И Он опять учил их. Он сказал: — Учение Мое свет миру. Кто примет его, тот не будет ходить во тьме, но будет ясно видеть, что хорошо и что дурно. Я учу тому, чему учит всякого человека Отец Мой дух, вславший Меня.

Они сказали: — Где Твой Отец?

Он сказал: — Если бы вы знали Меня, вы знали бы и Отца Моего.

И сказали ему: — Кто же Ты?

Он сказал: — Я тот дух, которому не было начала и не будет конца. Я Сын Человеческий, но признаю Отцом Своим дух Божий. Когда вы возвеличите в себе Сына Человеческого, тогда узнаете, что такое Я, и тогда поймете, что Я ничего не делаю и не говорю от Себя, но делаю и говорю только то, чему научил Меня Отец.

32

И иудеи окружили Его и сказали: — Все, что Ты говоришь, трудно понять и не сходится с нашим писанием. Не мучай нас, а скажи нам прямо: Ты ли тот Мессия, что по нашему писанию должен прийти в мир?

И отвечал им Иисус: — Я уже говорил вам, кто Я, но вы не верите. Делайте же то, что Я говорю, тогда поймете, кто Я и для чего пришел.

Кто идет по Мне и делает то, что Я говорю, кто понимает Мое учение и исполняет его, тот со Мною и с Отцом.

Я и Отец — одно.

И иудеи оскорбились этими словами и взялись за камни, чтобы убить Его.

И Он спросил их: — За что вы хотите убить Меня?

Они сказали: — Мы хотим убить Тебя за то, что Ты, человек,

делаешь Себя Богом.

И отвечал им Иисус: — Я сказал, что Я сын Божий и соединяюсь с Отцом, когда исполняю волю Его. Тот, кто признает себя сыном Бога, тот перестает быть рабом, а получает жизнь вечную. И как раб в доме хозяина не живет всегда, а сын хозяина всегда в доме, так и человек, когда живет духом, соединяется с Отцом и живет вечно.

Истинно говорю вам: кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти вовек.

И тогда иудеи сказали ему: — Теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки умерли, а Ты говоришь, что кто соблюдает слово Твое, тот не увидит смерти вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама? Авраам умер и пророки умерли, а кто соблюдает Твое слово, тот не умрет.

И Иисус сказал: — Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь.

Иисус говорил про тот дух Божий, который жил в Нем и живет в каждом человеке, и которому нет ни конца, ни начала. Но они не понимали этого.

Иудеи не знали, что с Ним делать, и не могли присудить его. И пошел Он опять за Иордан и оставался там.

33

И один раз, в то время, когда Иисус возвращался в Иерусалим, два ученика Его, Иаков и Иоанн, подошли к Нему и говорят: — Учитель! Обещай нам, что Ты сделаешь нам то, о чем мы попросим Тебя. — Он говорит: — Чего вы хотите? — Они говорят: — Чтобы мы были равны с Тобою. — Но Иисус сказал: — Вы сами не

знаете, чего просите. Каждый человек может своим усилием войти в царство Отца, но никто другой не может сделать этого для другого.

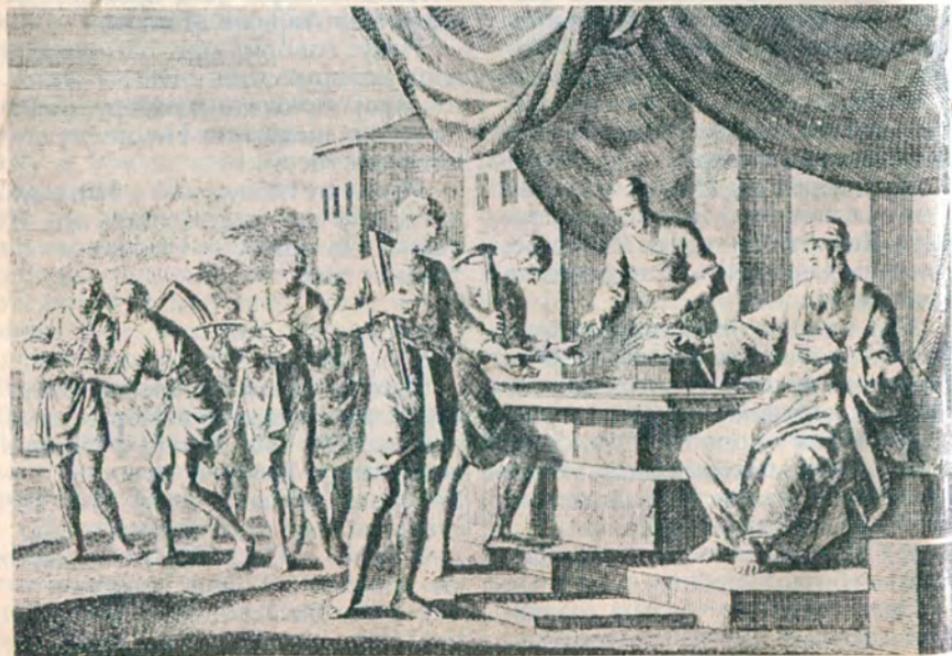
И Иисус подозвал других учеников и сказал всем: — Мирские люди, цари и начальники считаются между собою, кто старше, кто младше. А между вами не должно быть ни старших, ни младших; между вами большим будет только тот, кто будет всем слугою. Между вами, кто хочет быть первым, тот считай себя последним, потому что по воле Отца Сын Человеческий не затем живет, чтобы Ему служили, а затем, чтобы самому служить всем и отдать плотскую жизнь за жизнь духа.

34

И на это сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал:

Вышел раз хозяин рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по гривне за день, послал их в виноградник свой; потом вышел около завтрака и увидел других рабочих без работы и им сказал: идите и вы в виноградник мой; и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышел около обеда и около полдника и сделал то же. И уже вечером нашел еще людей без работы и сказал им: что вы стоите здесь целый день без дела? Они сказали: никто не нанимал. И он сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.

Когда же пришло время к расчету, говорит хозяин виноградника своему управителю: позови работников и отдай им равную плату, начав с последних и до первых. И те, что пришли вечером, полу-



чили по гривне. Те же, что пришли первыми, думали, что они получат больше, но получили тоже по гривне.

И эти первые стали роптать на хозяина виноградника и говорили: эти работали один час, а мы целый день с утра, и ты сравнивал их с нами.

Хозяин же сказал им: напрасно вы ропщете. Разве вы не уговорились со мною по гривне? Возьмите, что вам следует, и идите. А если я хочу дать последнему то же, что и первому, то разве я не властен в своем делать, что хочу? Вы обижаетесь за то, что я добр, и завидуете брату. Это не хорошо.

То же и с людьми: рано или поздно исполнит человек то, чего хочет от него Бог. Всем ровно, и последним то же, что и первым.

35

И об этом же сказал Иисус еще притчу. Он сказал:

Было у одного человека два сына, и меньшой захотел отделиться от отца и сказал: батюшка, отдели меня. И отец отделил его. Взял меньшой свою часть и пошел на чужую сторону. И на чужой стороне промотал все имение и стал бедствовать. И так опустился, что нанялся на чужой стороне в свинопасы. И только тем и питался, что ел желуды, то же, что ели свиньи. И раз раздумался он о своем житье и сказал себе: напрасно я ушел от отца. У отца всего было много, у отца и работники сыто едят. А я вот со свиньями один корм ем. Пойду лучше к отцу, поклонюсь ему в ноги и скажу: виноват я, батюшка, перед тобою и не стою тебе сыном быть. Возьми меня к себе хоть в работники.

Подумал так и пошел к отцу. И

когда он подходил к дому, увидел его отец, узнал и вышел навстречу ему, обнял и поцеловал его.

И сказал сын: батюшка, виноват я перед тобою, не стою тебе сыном быть. — Отец ничего не ответил на эти слова, а только велел работникам принести одежду самую лучшую и сапоги хорошие, и велел сыну одеться во все хорошее. А еще велел отец работнику убить телянка поенного. И когда все было готово, отец сказал домашним: этот сын мой был мертвый, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся. Будем же праздновать эту радость.

И когда все сели за стол, пришел большой сын с поля и увидел, что в доме что-то празднуют, и подозвал старший сын работника и спросил: что такое у нас празднуют? И работник сказал: разве ты не слышал, брат твой вернулся, и отец твой радуется. Большой брат обиделся и не пошел в дом. А отец вышел к нему и стал звать его. Но старший сын не пошел и сказал отцу: сколько лет на тебя работаю и приказа твоего не ослушаюсь, а ты для меня никогда телянка поенного не резал. А меньшой брат ушел из дома, все имение прогулял с пьяницами, а ты теперь для него такой пир делаешь.

И сказал отец старшему сыну: ты, говорит, всегда со мной, и все мое — твое. И тебе не надо обижаться, а радоваться, что брат твой в мертвых был, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся.

Так же поступает Бог со всеми людьми, когда рано или поздно они возвращаются к Отцу и вступают в царство Божие.

Окончание следует

ИЩУ ДРУГА

Редакция нашего журнала получает очень много писем с просьбой рассказать о творчестве и жизни замечательного певца Виктора Цоя, одного из звезд советского рока, лидера группы "Кино", чья безвременная гибель стала трагедией для многих его поклонников. На страницах "Мы" материалы о Цое появлялись уже дважды – в № 2 за 1990 г. (этот материал готовился еще при жизни певца) и в прошлом, первом номере нынешнего года. А сегодня мы публикуем адреса двух 15-летних девочек, поклонниц Цоя, которые бы хотели переписываться с другими поклонниками этой замечательной рок-группы, обмениваться фотографиями.

642022, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-я Заречная, д. 102. Кудряшова Марина.

601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Революции, 40/1. Чувакова Ольга.

17-летняя Светлана ждет писем от поклонников группы "Мама" и студии Сергея Кузнецова.

165640, Архангельская область, г.Сольвычегодск, ул. Ульянова, д. 26а, кв. 66. Светлана Ш.

"Я очень люблю спорт, – пишет нам 14-летняя Люся, – хожу на тренировки уже шестой год. Девчонок тянет на дискотеку, погулять поздно вечером. А меня тянет на тренировку. Вечером люблю пошить, повязать".

164100, Архангельская область, г.Няндама, ул. Больничная, д. 23а, кв. 1. Наумова Люся.

Лене 14 лет, она попала в сложную ситуацию: одноклассники объявили ей бойкот. "Я думаю, что есть такие же, как и я, – пишет она в редакцию нашего журнала. – Я хотела бы переписываться с ними. Мы могли бы поддержать друг друга в трудную минуту, помочь советом".

141400, Московская область, г.Химки, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 60. Лаврушкина Лена.

Ребята из детских домов! Ваших писем ждет 14-летняя Ира.
745400, ТССР, г.Мары, ул. Заманова, д. 66, кв. 7. Безгина Ирина.

Болельщики "Спартака"! У вас есть шанс найти себе подругу в старинном городе Самаре. Маше 15 лет, кроме футбола, она увлекается рок- и поп-музыкой, любит детективы и охотно пишет письма.

443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 17, кв. 34. Зайцева Маша.

Следующий адрес публикуется, что называется, "в порядке исключения", так как Кирилл просит всех, кто обратится к нему, вкладывать конверт со своим адресом, а мы считаем такое требование нарушением принципа бескорыстности "дружбы по переписке". Но Кирилл обещает всем желающим дать адреса звезд кино, рок- и поп-музыки, среди которых – Майкл Джексон, Сильвестр Сталлоне, Сандра, Том Круз, а также адреса фэн-клубов за рубежом.

277048, Молдова, Кишинев, ул. Байкальская, д. 72, кв. 12. Михеев Кирилл.

Думаем, очень много писем получают девочки, чьи адреса печатаются ниже, поклонницы группы "Ласковый май". "Пусть мне пишут те, кто хотел бы переписываться со своим кумиром, а может быть, уже писал ему. Пусть пишут те, кто любит песни "ласковых мальчиков" и не может их слушать без слез". Ну, слезы, пожалуй, все же ни к чему.

620033, г.Свердловск, ул. Краснодарская, д. 28, кв. 5. Коновалова Наташа (15 лет).

626523, Тюменская область, г.Лабытнаги, ул. Дёповская, д. 5, кв. 12. Алена А.

Интересы 12-летней Наташи – драмкружок и туризм. Ей хочется найти друзей из других городов.

480062, Казахская ССР, г. Алма-Ата, микрорайон 2, д. 32, кв. 16. Зашнайко Наташа.

Кате 13 лет, она живет в Москве, любит собак. Почти все ее одноклассники – приезжие, не коренные москвичи. И общий язык найти им трудно. Катя готова получать хоть по двадцать писем в день!

113149, Москва, Симферопольский бульвар, д.4а, кв. 196. Катя К.

Увлечения 16-летней Ирэны вызывают уважение – это большой теннис и конный спорт. Она ждет писем от симпатичных ребят, но прибавляет, что идеалом мужчины для нее является Дитер Болен. Надеемся, что и наши ребята не подкачают.

117296, Москва, Ленинский просп., д.62/1, кв. 424. Ирэна М.

И еще один адрес – на сей раз, если можно так сказать, "групповой". Башкирские шестиклассники просят писать им своих сверстников.

Башкирия, г. Уфа, средняя школа № 44, 6 "А" класс.

Вспомнился старый анекдот. "Какое бывает кино?" – "Кино бывает хорошее, плохое, очень плохое. И еще индийское". Да, у индийского кинематографа в нашей стране есть и противники, и поклонники. Последних просят писать по адресам:

162510, Вологодская область, г. Кадуй, ул. Молодежная, д. 6, корп. 1, кв. 63. Анита (16 лет).

163901, Архангельская область, г.Новодвинск, аб/я № 14. Волкова Женя (14 лет).

О многих ребятах, которые просят опубликовать их адрес в нашей рубрике "Ищу друга", рассказать мы ничего не можем – по той простой причине, что они о себе не пишут. Поэтому, публикуя их адреса, в скобках пишем то небольшое, что они о себе рассказали.

105400, Архангельская область, г. Котлас – 11, ул. Джамбула, 16–9. Шергина Светлана (16 лет, любит музыку и хоккей).

226080, Латвия, г. Рига-80, ул. Дзеизавас, д. 76/5, кв. 120. Никитина Оля (12 лет, увлекается роком, собирает марки).

662800, Красноярский край, г.Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 12, кв. 37. Ольга (16 лет).

641454, Курганская область, Куртамышский р-н, д. Курмышы, Пиншина Людмила (просит писать парней 16–17 лет).

307102, Курская область, Фатежский р-н, с. Басово, д. Ясная Поляна, 3. Халина Ирина.

121614, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 5, кв. 1032. Антонова Юлия (12 лет, любит читать фантастику и детективы).

164516, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Б/Строителей, д. 31, кв. 42. Битенькова Александра (13 лет).

*Дорогие друзья, помните:
наша рубрика "Ищу друга" всегда открыта для вас!
Пишите нам о себе и, главное, не забывайте
р а з б о р ч и в о написать свой подробный адрес.*

В прошлом номере мы познакомили наших читателей с дневником десятиклассницы Наташи, в котором она откровенно рассказала о своей жизни, первых юношеских увлечениях и о том, чем закончились для нее "игры в любовь".

*Наташа встретила настоящего парня, вышла замуж...
Наверное, вам будет интересно узнать,
как сложилась ее дальнейшая жизнь.*

*Об этом рассказывает ее бывший школьный учитель
Владимир Чередниченко.*

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ,

или Супружеская жизнь
вчерашней десятиклассницы

ПЕРВОЕ ПИСЬМО НАТАЛЬИ

Владимир Иванович, здравствуйте! Пишет Вам Ваша бывшая ученица Наталья. Как Вы помните, две недели назад я вышла замуж. И вот сейчас я в отчаянии. Вокруг меня одни враги. Может, это крайне обобщенно, но единомышленников я не нахожу.

После свадьбы мы живем в "проходной" комнате. Это ужасно: каждый (кому только не лень) счи-

тает впрямую в любую минуту войти в нашу жизнь и поучать. Я, конечно, понимаю, что супруга я пока неважная: готовить совсем не могу, стирать — только мелкие вещи стирала. Одна мысль о стирке белья приводит меня в ужас. Но ведь я хочу научиться всему: и стирать, и борщи варить, и пироги печь, и шить, и вязать. Саша, правда, на мою нерадивость почти не реагирует, но его сестра Катерина... Ее отношение ко мне — сплошной террор. Я все делаю плохо. Все не так. А если учесть, что я пока еще не работаю и что все домашнее хозяйство на мне, можете представить. Я не могу назвать эту семью своей, т.к. я в ней чужой человек. Я это почув-

ствовала с первого дня нашей жизни.

Катерина поднялась рано утром и полчаса моталась в коридор из своей комнаты через нашу. Потом бесцеремонно подошла к постели и, сдернув с нас одеяло, заявила: "Хватит отлеживаться, вставай, готовь на стол! Мать сотрудницу пригласила в честь вашей свадьбы. Подарки, золотко, отбавывать надо".

Делать нечего, пришлось подниматься и — за работу. Вот так у меня с первого дня все стало валиться из рук. Все получалось плохо, не так, как у свекрови. Хорошо, Саша не ведал, какая я неумеха. Они с сестрой что-то бурно обсуждали в нашей комнате.

Вскоре пришли гости. Толстая, какая-то растрепанная дама, она будто бы завучем работает в школе, где свекровь. С ней тщедушный муженек и еще трое сыновей. Услышав, что я называю свекровь по имени и отчеству, эта дама весь день сокрушалась, что я воспитывалась в плохой семье и что такую чудесную женщину, как свекровь, надо называть "мамочкой".

Катерина сидела тихо, слушала гостью, ехидно на меня поглядывая и посмеиваясь. Потом тонно приказчика сказала: "Хватит заседать, готовь стол к чаю". Свекровь кинулась мне помогать, но ее остановила наша дорогая гостья.

Руки не слушались меня. Я так боялась сделать что-то не так, что выронила из рук тарелку с салатом. Она разбилась вдребезги, испачкав ковер. Я готова была разреветься, но выручил Илья Васильевич — Сашин отец, сказав, что посуда бьется к счастью. Потом, подтолкнув Катерину, сказал,

чтоб она мне помогла. Но она, скривившись, ответила, что она не поняла, кто из нас выходил замуж: она или я.

Вот с этого самого дня и начались мои мучения.

Я понимаю, что Катерина права: я не лучшая партия своему мужу, а ее брату. Что свекровь, видя это, все больше меня ненавидит. Да и права она, наверное, в том, что, любя Сашу, я обязана любить его сестру. Но это выше сил моих.

Илья Васильевич считает, что не мужское дело влазить в "бабы дрязги". Хуже всего то, что вчера в гости приехали мои родители. И, посмотрев на мою жизнь, были шокированы. Да и как не быть шокированным, когда Катерина показала себя в лучшем свете. Она так изощрялась в остроловии, что я не выдержала — разрыдалась. Мать моя, глядя на мои слезы, устроила скандал. Я и так видела, что она еле себя сдерживает, и понимала, что с минуты на минуту грянет гром, но что-то изменить я была не в силах.

В общем, родители увезли меня домой. Саша просил, чтоб я не делала глупостей, чтоб осталась. Илья Васильевич говорил, что не в силах в чем-то убедить сразу четырех женщин. Свекровь кричала моей маме, что я ничто против ее Катерины и что мизинца ее не стою.

Мать, конечно, распекала Катю на чем свет стоит. И та, поверьте, хоть ей всего 24 года, ни на йоту не уступала в перебранке. Да еще при этом выгребала из гардероба мои вещи и заталкивала их в сумку. Отец пытался успокоить мать. Саша стоял возле меня и тоже пытался успокоить. Гладил по плечу, как маленькую девочку.

А я не могла успокоиться и рыдала все больше и больше. Потом я почувствовала, что не хватает воздуха... Папа ушел. Вскоре вернулся и доложил, что такси ждет у подъезда. Саша проводил меня до машины. Я днем и ночью помню его глаза. В них боль и недоумение. В последний момент какая-то искра надежды промелькнула и тут же погасла.

Сейчас я дома. Родители настаивают на разводе. Саша звонил дважды. Спрашивал только о здоровье, осторожно выяснял, не ожидаю ли я ребенка.

В этой ситуации нет ни одного человека, который бы трезво взглянул на случившееся, беспристрастно что-то посоветовал.

Я на распутье. Я его люблю даже после всего, что пришлось пережить. Люблю его, его голос, руки, улыбку, глаза. Как мне жить без этого? И вернуться назад нет сил. Что делать? Если Вас, Владимир Иванович, не затруднит, то позвоните мне домой или лучше черкните пару слов. Я ужасно плохо выгляжу и не хотела б, чтоб кто-то сейчас меня видел.

ВИЗИТ

Мы долго думали с женой, что можно ответить Наташе, что посоветовать. Думали каждый сам по себе, она — с женской, я с мужской позиции анализирую сложившуюся ситуацию. Наконец жена решительно заявила:

— Знаешь, сама я и с уборкой справлюсь, и борщ сварю. А ты бери Андрюшу и поезжай. Надо помочь девчонке!

Я не спорил. В воскресенье взял сына за руку, и мы отправились в гости.

Дверь нам открыла Катя. Заспанная, какая-то бледная... Позже я понял, что она без макияжа. Не думал, что косметика так меняет женскую внешность.

— О, а почему с ребенком?! — спросила Катя вместо приветствия.

Впрочем, недоброжелательности в ее словах не было, скорее удивление. Катя, конечно же, сразу догадалась о цели моего визита. Но почему она считает, что может помешать ребенок?

Я снимал куртку, а Катя стеляла и смотрела, как Андрюша мучается. Никак ему не давался узел на шапке. "Неужели ей не быть матерью?" — подумал, помогая сыну раздеться. Фраза "А почему с ребенком?" все еще звенела в ушах, и я чувствовал себя неловко. Зато Андрей раскован до предела. Увидел на диване плюшевого мишку и сразу начал шумно с ним знакомиться. А потом сказал честно:

— Тетя, я хочу чаю!

То что ее назвали тетей, Кате, видно, совсем не понравилось. Андрей продолжал знакомиться с обстановкой, осматривался. Это и есть та "проходная" комната, о которой писала Наташа. Здесь, конечно, уютно, но ведь через комнату лежат пути к спальням Кати и родителей, а значит, уют и уединение для молодоженов лишь относительные.

Вскоре появились Ольга Павловна и ее муж Илья Васильевич.

Они ездили на рынок за продуктами. Моему присутствию, похоже, никто особенно не удивился. Свекровь спросила у меня таким тоном, как будто я здесь частый гость:

— Вы не скучали здесь с Катенькой?

Илья Васильевич только пожал мне руку и молчал. Когда он смотрел на Андриюшку, я заметил, как лицо его потемнело, в глазах появилось выражение какой-то тоски и печали.

Когда мы уже сели за стол, возвратился из ночной смены Александр. Я чувствовал себя неловко, все не знал, как навести разговор на то, ради чего приехал. Болтали о всяких малозначащих пустяках. Помогла мне свекровь:

— Это ваша статья в третьем номере "Здоровья"?

— Да. Моя.

Катя ввернула:

— Такая большая! Ты уже получил гонорар? Интересно — сколько же?

Я ответил, что еще не получил, и у Кати снова пропал интерес к разговору. Она отвернулась к телевизору и продолжала смотреть "Утреннюю почту". Но Саша с мамой заинтересованно расспрашивали.

— Ну неужто и девятиклассницы у вас на уроке так просто могут спросить о разных интимных вещах? — поинтересовалась свекровь Наталья.

— Почему бы и нет? Если вопрос возник, он все равно будет поставлен. Это хорошо, что не в подворотне, а в школе.

— И много таких девятиклассниц, которые ... — сделал паузу, подбирая слово, — интересуются?..

— Совсем немного, — ответил я откровенно, думая о том, сколь много пошлых сплетен и домыслов существует в сознании обывателей о старшеклассницах. В курилке одного уважаемого НИИ из уст мудрых ученых мне даже приходилось слышать, что если среди старшеклассниц хотя бы четвертая часть сохранила свое целомудрие — это редкий случай. Не понимаю, откуда такие досужие домыслы.

Из общения с медиками — гинекологами, работающими в школах, — мне доподлинно известно, что число девушек, рано вступивших в половую связь, не превышает в отдельных классах 18—20%. А обычно это 7—15%. В разных школах по-разному.

Так незаметно разговор от острых тем перешел на школу вообще. Катя, оторвавшись от телевизора, спросила с ехидцей:

— А что это ты так печешься за Наташку? Она что тебе, родная? А может, она тебе чем-то дорога?

Это последнее она ввернула с особым подтекстом и сделала паузу, выжидая.

— Да нет, наверное, — не уловив в речи дочери пошленький мотив, заговорила свекровь. — Деньги за это дополнительные платят как за внеклассную работу или как за проверку тетрадей.

— Нет, денег не платят, — разочаровал я Ольгу Павловну. — Но Наташа мне действительно очень дорога...

Саша, потупившись, молчал. А Катя криво усмехнулась:

— Если родная, что ж вы ее к празднику, а не к жизни готовили? Она ведь даже постирать не умеет, на стол накрыть...

— Вы считаете, что Наташа

совсем не подготовлена к семейной жизни? Да, вы правы, у меня, как в работе каждого учителя, есть пробелы. У вас, Ольга Павловна, разве все исключительно на "пять" успевают? "Четверок" и "троек" нет? — Я перевожу дыхание. — Давайте-ка лучше поговорим о чисто человеческом подходе к этому вопросу. В какой комнате жили ваши молодожены? Разрешите взглянуть, — делаю "ход конем".

— В этой, — грустно отвечает Саша.

— Как в этой?!

Я стараюсь вложить в свой вопрос как можно больше удивления.

— Да ведь, как я понимаю, комната проходная?!

Катя воскликнула:

— Подумаешь, царевна какая — эта ваша Наташа! Сашка вон свой человек и то не жалуется, понимает...

На уроке, когда изучаем тему "Коллективизм семьи", я двумя руками за общую крышу. Совместная жизнь с родителями экономически более выгодна для молодой семьи. Да и времени свободного больше, а значит, и возможностей для содержательного досуга. Ребенку, когда он появляется, тоже в большой семье лучше, не то что наедине с вечно занятыми, уставшими родителями. Словом, все преимущества и даже статистика — за семью совместную. Но в данном случае я знаю твердо: Наташе сюда возвратиться не посоветую. Хоть и трудно будет, но у Саши с Наташей, пожелай они сохранить семью, выход один — снять квартиру.

При всех я об этом не говорю, жду возможности остаться с Са-

шей вдвоем и пытаюсь вытащить его под предлогом проводить нас. Но Катя увязалась с нами. Наконец мое терпение иссякло.

— Здесь, милая девушка, — говорю я тоном, не терпящим возражений, — мы будем с вами прощаться. У нас с Сашей мужской разговор. Андрей, думаю, не мешает, а вот вы уж извините...

Катя, опешив, остановилась и приготовилась к наступлению... Выручил Андрюха. С непосредственностью, присущей детям, он заявил:

— Конечно, папа! Какой же это мужской разговор, если тетя рядом.

"Тетя" красноречиво глянула на нас обоих, но возражать не стала.

Я не знал, как начать разговор, а Саша вдруг как-то неожиданно спросил:

— Так, значит, я ей не нужен?

Речь, конечно же, шла о Наташе.

— Что за глупый вопрос? Я с таким же успехом могу тебя спросить, нужен ли человеку воздух, а рыбе вода. А, собственно, что дало тебе повод сомневаться?

Саша долго не решался, словно подбирал подходящие слова.

— Но ведь это не я, она от меня ушла. У нее ведь до меня был уже мужчина...

Я посмотрел на собеседника в упор:

— Тебя волнует ее прошлое или настоящее? Ты не можешь ей этого простить или думаешь, что ей легче от этого пережить разлуку с тобой?

Александр молчал, а я продолжал, уже теряя надежду на успех:

— Пойми, Саша, почти у каждого человека что-то было...

Важно, в какую степень это "что-то" было возведено. Ты ведь, наверное, не сможешь сказать, что до Наташи сам был девственно чист? Не надо, не отвечай. Радости от этого "что-то" сейчас немного. Верно?

Он чуть кивнул.

— Тебе 26 лет, — продолжаю я. — И Наташа, уверен, не сомневается, что ты имел связи с другими женщинами до нее. Она, кстати, тоже человек. С характером, нервами... Ты не подумал, каково ей?

Я чувствовал, что мой словарный запас иссякает, но Саша по-прежнему сосредоточенно молчал. И я набрал в легкие воздуха:

— Наташа человек очень порядочный. Если это произошло, то по недоразумению, а опыт свидетельствует, что куда чаще близость в таком возрасте происходит по незнанию, неопытности, а не от большой любви. Боюсь, у нее, бедняги, до сих пор душа болит при воспоминании о былом. А ты как сильный и любящий мужчина (тут я поймал себя за язык — а любит ли он?) должен сам преодолеть в себе чувство обиды и помочь ей забыть о происшедшем. Но сделать это лучше так, чтобы она ни о чем не подозревала, иначе ранишь ее душу еще больше. А в том, что она любит тебя, ты даже не сомневайся. Ты сейчас ей очень нужен!

Я смотрел на Сашу, а он смотрел на носки своих ботинок.

Навстречу идет женщина, толкая перед собой колясочку с близнецами.

— Ой, папа! — кричит мой Андрей. — Там что, толстый такой ребеночек лежит?

Я машинально отвечаю:

— Нет, там двое.

— Как двое? — восклицает сын. Прижавшись ко мне, он продолжает тихо: — Как хорошо тебе, папа, что я хоть один у тебя и у мамы есть. Правда?

— Правда, — продолжаю отвечать машинально, а сам ишу, что бы еще такое сказать Саше. Но Андрей неожиданно избавляет меня от такой необходимости:

— А вот дяде Саше не с кем себе сыночка выродить. Правда, папа?

Я оторопело смотрю на Александра, он — на меня. А потом как-то неожиданно спрашивает:

— Так, значит, я ей нужен?

Мы долго идем после этого молча, говорим о вещах далеко не первостепенных. Вдруг Саша одним духом заключает:

— Завтра к ней еду, и точка!

Я протягиваю ему руку. Мы молча прощаемся.

ВТОРОЕ И ДРУГИЕ ПИСЬМА

Владимир Иванович, здравствуйте! В первых же строках моего письма я хочу поблагодарить Вас за все, что Вы для меня сделали.

Я не знаю (Саша не рассказывает), что Вы ему говорили, но что бы ни было Вами сказано, уверена — сказано правильно.

Саша приехал в понедельник рано утром. Я еще спала. Он договорился на работе о трех отгулах. Вернее, ходил к прорабу домой вечером, сразу после того, как Вы уехали.

Представляю, как взбесится свекровь и Катька, узнав, куда он среди ночи помчался. Я, наверно, злая женщина, Владимир Иванович, но мне очень приятно сознавать, что он бросил их и приехал ко мне.

Саша за это время так изменился. Стал внимательным, нежным. Даже о ребенке будущем (который, неизвестно, будет ли вообще?) разговоры заводит. Но я боюсь мечтать об этом. А как было б хорошо, если б у нас с Сашей был маленький ребеночек и если б он был похож на Сашу...

С папой Саша очень подружился. Они поняли друг друга, нашли общие интересы. В квартире уютно стало так, что выходить из дому не хочется. Вообще странно, что раньше мне дома было хорошо одной и никто не был нужен. А сейчас кажется, что если Саша уедет без меня, я буду одинока в своей собственной квартире.

Мы решили, что будем жить на частной квартире, пока не получим комнату в общежитии. Поэтому Саша должен ехать один. Устроить наше гнездышко. А уж потом поеду туда я. Раньше не получится, я панически боюсь попасть еще раз в квартиру свекрови. Не хочу никогда больше видеть их "проходную" комнату.

Хорошо, что у нас с Сашей есть немного денег. Придется многое купить из домашней утвари. По этому случаю достала компакт с уроком, на котором делили семейный бюджет. К сожалению, Владимир Иванович, в жизни все получается значительно сложнее. Из нашего с Сашей бюджета пока не набирается ни на летний отдых, ни даже на содержание комнатной собачки. Видно, плохая я была у

вас ученица. Но, как говорит мой папик, жизнь доучит.

Мы решили, что сразу же по приезде я пойду на работу. Но швейной фабрики там нет. В ателье индпошива сказали, что в ближайшем будущем тоже ничего не светит, т.к. работников пенсионного возраста у них нет. Саша на днях шел мимо книжного магазина и случайно обратил внимание на то, что требуется младший продавец.

Может, мне испытать себя в торговле? Мама, конечно, против. Говорит, что неискушенному в торговле делать нечего, что там одни воры и аферисты. Это меня, конечно, смущает. Но я думаю, что ведь это же книжный магазин, а не какой-нибудь ликеро-водочный или овощной. Да и работать где-то надо.

Пугает то, что в магазин в любой момент может зайти Катька. А видеть я ее не хочу. Если честно признаться, боюсь я почему-то встречи с ней. Жалко, что Саша молодой специалист на своей стройке. Лучше б нам уехать куда-то, куда-нибудь, лишь бы подальше от той ужасной комнаты и от них тоже.

Владимир Иванович, я не знаю, как мне убедить себя, как перебороть. Я умом понимаю, что они Шашины родные. Понимаю, что своим отношением к ним я могу испортить наши с Сашей отношения, но я ничего не могу с собой поделывать. Я их, наверно, ненавижу. Особенно Катерину. Я даже добра ей пожелать не могу. Сама себя убеждаю, что она нормальный человек, а душа болит.

Я, Вы знаете, отличалась эмоциональностью. А сейчас во мне все обострилось. Как какая-то

хроническая болезнь. Боль утихает только, когда вижу Сашу. Он как анальгин сейчас действует. Вернее даже не он, а только сознание того, что он рядом, что он опять мой. Я эгоистка. Я мелкий собственник. У меня тысяча недостатков и даже пороков. Но, несмотря на это, я хочу быть счастлива. Хочу маленького человеческого счастья. И имею на это право! Как всякий человек — человек. Ведь правда?

На этом я закончу свое письмо.

* * *

Сейчас у меня уйма времени. Стала закрывать магазин, но не сработала сигнализация. Пришлось вызывать специалистов из вневедомственной охраны. Они посмотрели поломку и сказали, что часа через три, не раньше, устранят. Нас оставили дежурить. Меня и еще одну девушку — молодого специалиста. Подруга села писать письмо домой. Я тоже написала маме и папе. А потом думаю, почему бы не написать Вам? Ведь благодаря Вам мы с Сашей живем хорошо. Прямо боюсь сглазить. Он сейчас на дружине дежурит, и я не очень хотела идти домой, т.к. его еще нет. С нетерпением жду 23-х часов, чтобы его увидеть. В настоящее время меня, конечно, многое радует, но больше всего я благодарна Вам за то, что мы сейчас с Сашей живем. Оказалось, что это так просто — уйти и быть с ним вдвоем. Даже удивляет, почему мы с ним до этого сами не додумались?

Квартирка у нас уютненькая. Готовить я вроде бы уже научилась, да и со всем остальным хозяйством управляемся неплохо. Вот только семейный бюджет не-

много хромает. Но, думаю, это явление временное. Когда я открываю конспект Ваших уроков на этой теме, Саша смеется. Говорит: "Как ни крути, а недоучил тебя Владимир Иванович. Нет денег — и на собачке не сэкономишь". Но это он шутит, а все равно тоже очень благодарен Вам за тот визит.

С Ольгой Павловной и Катериной я не встречаюсь. Они, кажется, о нас просто забыли. К счастью.

Правда, не так давно заходила в магазин Катькина подруга, она тоже кем-то в горисполкоме работает. Так глянула на меня, что мне даже на мгновение плохо стало. Потом подошла к прилавку, "разрыла" (грубо сказано, но единственно подходящее слово) книги, выудила томик Марко Вовчок и, протянув мне, спрашивает: "Так, что он, милочка, здесь написал?" Я вначале опешила, а потом говорю: "Все дело в том, что Марко Вовчок — женщина. Это ее литературный псевдоним. Настоящее имя Мария Вилиньска. А в эту книгу включены ее произведения..." Но перечислить я не успела. Она точно так же, как Катька, фыркнула, и только ее и видела.

Удивляюсь я им обоим. В любой ситуации могут сохранить спокойствие. Вот бы мне так.

* * *

Спешу поздравить Вас с Днем Победы и написать несколько слов о своей жизни.

Саша ездил в командировку, а я на выходной к родителям. На вокзале встретила Эльвиру. До сих пор сердце сжимается при воспо-

минании об этой встрече. Извините меня, Владимир Иванович, но я плохо подумала о Вас, когда рассталась с ней. Несчастливая она, опущенная какая-то.

В предыдущем письме Вы спрашивали, что я знаю о наших общих знакомых (моих ровесниках), в частности о Сережке. Я узнала, что он обследовался в каком-то стационаре по поводу наркотиков. И хоть это было по направлению милиции и под ее контролем, он сбегал оттуда. Но вскорости его задержали, т.к. выяснилось, что он с дружкой убил какую-то бабу, торговавшую наркотиками. Теперь он ждет в тюрьме суда. Думаю, что другой конец его и не ждал.

Жизнь моя трещит по всем швам. К нам в гости зачастили свекровь с Катериной. Приходят каждую неделю. Делают вид, что очень озабочены нашими трудностями. Катька лазит по кастрюлям и проверяет наличие пыли на мебели и на полу носовым платком. Вздыхает злобно, смотрит на Сашу, многозначительно на свекровь, но ничего плохого не говорит прямо. Но когда они уходят, я выбрасываю в ведро то единственное пирожное, которое они приносят Саше, и начинаю ему выговаривать. А он, Владимир Иванович, после их ухода становится таким жалким и одиноким, что у меня душа разрывается.

И еще беда — он стал выпивши приходит с работы. А вчера пришел пьяный. Шел шатаясь. Ввалился в дверь и стал ругаться, кричать, что у нас все плохо и что ему стыдно в такую квартиру друзей пригласить. Кричал, что я...

очень плохой человек. Я была бес- сильна что-то сказать ему. Меня душили слезы. Если бы в этом городе у меня были близкие люди, я бы ушла среди ночи. Но утром он проснулся какой-то виноватый, подавленный.

Я не знала, что делать. А он, глядя на мою нерешительность, стал в резкой форме доказывать, что я не права, обижаясь на него, что другие женщины вообще с пьяницами живут и мне только позабавовать могут.

Тогда я не выдержала этого оскорбления и, сама не зная, что говорю, заявила: "Если еще раз такой придешь — уйду!"

Что делать, если сегодня опять придет пьяный? Сдержать слово не могу. А если сдержу — потеряю мужа. Что делать?

Спасибо большое за поддержку. Но у нас по-прежнему все плохо. Саша постоянно выпивает. Боюсь, что это перейдет в привычку. Домой к нам ходят его друзья- собутельники. Ему льстят их пьяные заискивания.

На все мои просьбы, замечания муж сразу же взрывается и начинает меня упрекать в бесхозяйственности, нерадивости, неумении обойтись резко поскудевшим от водки бюджетом. Самый большой упрек — то, что у нас нет детей. И что самое ужасное, я не нахожу, что ответить. А он, видя это, все чаще использует такой маневр для того, чтоб я его не трогала.

Поташил меня к Катьке на день рождения. Какая это была пытка! Вы, Владимир Иванович, не поверите, но у меня возникло желание

выпрыгнуть с балкона, т.к. через дверь уйти не было возможности. Катька все время хвасталась своей властью в городе. Рассказывала, как одной фразой может привести в замешательство директора крупного завода. Или довести до слез инструктора любого из отделов. И опять объектом для насмешек избрала меня.

Хвасталась подарками, какие ей делает начальник. Я просто удивляюсь размерам его зарплаты, т.к. у него семья, трое детей и хватает на такие подарки для подчиненных вроде Катьки. А может, Катька врет все? Ведь то кольцо, которое ей подарено на день рождения, стоит 390 рублей, я такое же видела в ювелирном магазине.

На выходные дни ездила домой. Перебирала школьные фотографии. Так не хотела уезжать. Вернуться бы в школьные годы.

На обратном пути встретила Павлика. Поверите, я его не узнала. Такой взрослый. В военной форме. Подошел, улыбается. Привет, Натка, говорит, а я только по голосу и поняла, что это он. Сказал бы мне кто-то в 9-м классе, что такое произойдет, — не поверила бы. И что интересно — ничего во мне не шевельнулось при встрече с ним. Вот только когда он ушел, так одиноко вдруг стало.

Что это, Владимир Иванович, распушенность? Непостоянство?

Но домой возвращаться не хотелось.

Саша был дома, слегка выпивши и злой. Стал выговаривать, что отсутствовать три дня — это слишком много для замужней женщины, что если бы не сестра Катя, то ему эти дни пришлось бы жить голодным и в грязи. Она вроде бы приходила каждый день.

Но ничего из наведенного ею порядка я не обнаружила. И что странно — на диване лежал пеньюар, который ей подарил ее шеф. Я спросила Сашу, почему это здесь. Он растерялся и ничего вразумительного не ответил. Это ужасно, я не знаю, что и думать.

* * *

Вот уже много времени меня мучает один и тот же вопрос. Но поймите правильно, даже при всей откровенности между нами не хватает смелости о нем писать. В "Комсомольской правде", Вы видите, наверное, было объявление о "Прямой линии" — все желающие могут получить ответ на интересующие их вопросы секса и интимной жизни. Я в указанное время только то и делала, что накручивала телефонный диск, но так и не смогла дозвониться. Что еще делать? Вы знаете, что в нашем провинциальном городишке не будет в ближайшие 20 лет придумано такого вида услуг населению. Но через 20 лет будет поздно: поэтому буду перед Вами как на духу.

Вы конечно же спросите, почему раньше не написала. Отвечу. Уже было и собралась с мыслями, но тут... Начну с того, что сняли Катькиного шефа. Мне ее стало искренне жаль. По многим причинам. А именно: новый шеф на второй день своей работы предложил ей уволиться по собственному желанию, т.к., работая на заводе, он не раз сталкивался с ней в приемной и шоколадки приносил, а теперь мстит ей. По крайней мере, так говорит Катька. К тому же должна сказать и о том, что у Кати и ее шефа были более близкие от-

ношения, чем у начальника и подчиненной. Тот Катькин пеньюар оказался на нашем диване потому, что они встречались здесь, когда я была у родителей.

Уволившись, Катя осталась совершенно одна. Понимаете, так сразу одна-одинешенька. Все те, которые кланялись за версту, при встрече с ней теперь отворачиваются. Даже близкая подруга.

Почти то же самое произошло с ее шефом. Он сейчас на заводе бригадиром работает. А Катьку вообще нигде не берут — всем начальникам в городе насолить успела.

Но весь вопрос в другом. Очень часто, оставаясь у нас допоздна, Катя рассказывает мне о своей интимной жизни. О том, каким ее бывший шеф был ласковым, заботливым, внимательным. Слушая ее, я чувствую зависть. Она, расставшись с ним, с нетерпением ждет следующей встречи. А я с болью вспоминаю, как мне плохо, когда, окончив половой акт (извините, Владимир Иванович, но я буду называть вещи своими именами), мой муж отворачивается и тут же засыпает. А я лежу, плачу и в то же время радуюсь, что эта пытка уже закончилась.

Я в порыве отчаяния выпросила у одного книголюба (мой постоянный покупатель — у него колоссальная библиотека) книгу Нойберта, ту, о которой вы говорили на отдельном занятии для девочек. Прочитала сама и предложила почитать Саше. Владимир Иванович, что тут началось! Мой муж кричал так, что соседки, наверное, думали, что я совершила преступление против народа. Он привел тысячу и один аргумент о том, что я распущенная, даже ро-

дителей своих в пример поставил, якобы они жизнь прожили — книжек не читали и всегда удовлетворены были своей интимной жизнью. И самое обидное в том, что в заключение он вспомнил о Валерии, с которым я встретила тот злосчастный Новый год (я сама ему, дура, в этом покаялась когда-то). Сказал, что это я с ним так развратилась, а может, даже и не только с ним. И в том, что у нас нет детей, виновата тоже моя распущенность.

Я долго плакала. Он даже меня потом жалеть стал, гладил по голове. Мне было очень обидно: и за ту единственную ночь, и за ту промашку, которую теперь всю оставшуюся жизнь придется отрабатывать. Я твердо поняла, что Саша не захотел понять меня в вопросах секса. Он просто отказался от счастья, которое имеет Катя. А судя по ее виду и поведению, она счастлива даже кратковременными свиданиями с чужим мужчиной, в то время когда мы больше имеем прав на счастье.

Успокоиться я не смогла. Перечитала всю литературу по этим вопросам, которую приносил покупатель. И на свою беду вычитала, что деторождаемость также зависит от женского оргазма. Термины, которыми я оперирую, наверное, убедят Вас в том, что я действительно перевернула гору книг. Хотя этих книг выпускается у нас совсем мало. В нашем магазине, к примеру, ни одной не было в продаже. А ведь молодые покупательницы ищут их, спрашивают. Значит, это не распущенность, а жизненная необходимость. Культура поведения волновала всех и раньше. Поэтому закономерно, что сейчас особо

заинтересовались и вопросами культуры сексуальной.

Как изменить наши с Сашей интимные отношения, если муж даже и слышать о таком не хочет? Он даже считает, что я этим оскорбляю его мужское достоинство. Может, я действительно не права и мои притязания задевают его мужское самолюбие?

* * *

Получив ваше письмо, я, признаться, не совсем ему поверила, но время показало, что Вы были правы. Действительно, зачем я устраивала эти разговоры о сексуальной культуре да еще что-то и требовала от Саши? Глупо.

Вы правы также в том, что за-претный плод всегда сладок. Вчера я перед Сашиним приходом с работы открыла журнал на статью об интимных отношениях мужчины и женщины, очень хотела, чтоб он ее прочитал, т.к. автор чаще обращался к мужчинам, чем к нам, женщинам, и через всю статью проходит мысль, что уважающий себя мужчина в интимной жизни должен прежде всего думать о женщине. Саша вошел, и я сделала вид, что спешно закрываю журнал и не знаю, куда его спрятать. Потом сунула его в стопку журналов, хорошо запомнив, между какими он оказался. Накрыла стол к ужину и, поужинав вместе с ним, ушла на дружину. На следующее утро, когда муж ушел на работу, я убедилась, что журнал его заинтересовал. А то, что он был прочитан, я почувствовала вечером этого же дня. Так что большое Вам спасибо, Владимир Иванович. Также спасибо и за вырезку с менструальным циклом и периодами наи-

более благоприятных дней для зачатия плода. Но тут же возникает вопрос: почему об этом нам не говорили в школе? Ладно, я прощаю маму. Она где герой, а об этом со мной поговорить не решилась, да и вообще вопросов о женской гигиене избегала, да и сейчас избегает. Но это мама. А ведь в школе специалисты, люди, которым по долгу службы дано нас просвещать разносторонне. А я хорошо помню, как в школе, дойдя до этих тем на уроках биологии, учительница, загадочно усмехнувшись, сказала: "Ну, а с параграфами такими-то разберитесь самостоятельно". А до них ли нам было? Обрадовались, что можно пропустить.

Вообще я считаю порочной практику умалчивания таких важных для каждого тем, как культура общения и культура секса. И вообще слово "секс" не такое позорное, как у нас принято считать. Это от нехватки информации.

Я не боюсь показаться банальной, сказав, что это жизненная необходимость всего живого. Только люди должны в этих вопросах отличаться от животных, а не подчиняться просто животным инстинктам. А то что же получается — делать не стыдно, стыдно об этом говорить.

Может, я не права во многом, может, категоричная очень в своих суждениях. Если так — извините. Но так думают многие, только они молчат.

* * *

Большое спасибо за поздравление. Вот же не думала, что Вы помните день моего рождения.

В этот день было много приятного. Собрались родные Саши,

приехали и мои. Казалось, что вершина счастья в этот вечер мною достигнута. И муж рядом, и родители мои и его за одним столом сидят, и друзья не забыли. Тут пришел почтальон и принес телеграмму от Вас, и сразу стало еще теплее и радостнее на душе. Оказывается, так немного нужно человеку для счастья.

У нас новость, мы ждем ребенка. Саша счастлив. Первые две недели разговор шел только о будущем сыне (почему именно сын, а вдруг будет девочка?).

Известие о будущем ребенке всеми было воспринято по-разному. У моей мамы почему-то, как при скандале с папой, на лице появились упрямые морщинки. Возможно, потому, что в разговоре с моей свекровью она не так давно что-то шутя сказала о будущем внуке, на что та зло ответила:

— Та коли вин ще буде, той онук.

Когда злится, она всегда переходит на украинский язык.

У моего папы почему-то вдруг увлажнились глаза.

Свекр замешкался.

Свекровь глянула с сомнением, вроде бы хотела сказать: "А не разыгрываете ли вы меня, ребята?"

Удивила Катерина.

Глаза ее стали злые. Она смотрела на меня с непонятной ненавистью. Потом справилась со своими чувствами и первой из всех собравшихся сказала:

— Ну что ж, мы рады. Так, значит, когда я стану теткой?

Я ее понимаю. Ей очень плохо. Все вокруг живут основательно, с расчётом на будущий день. А что у нее? Все временное. Все! И любовь, наверное, тоже. За последнее время она даже внешне очень

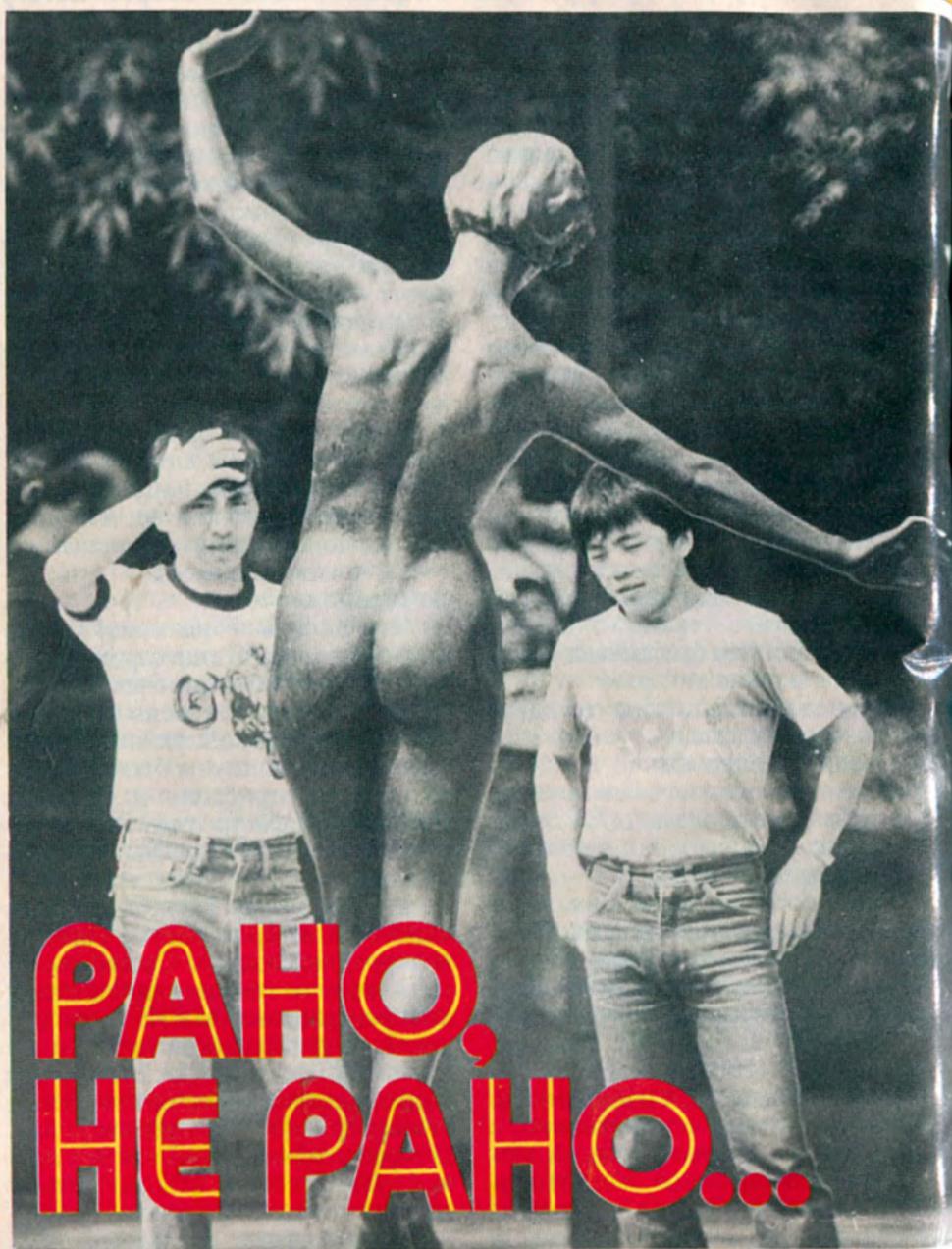
изменилась. Нет в ней уже былого шика. Я бы не сказала, что в этом возраст виноват. Скорее Катюку удручает ее новое место работы — секретарь-машинистка в жзу. К нам с Сашей она внешне относится так же. Но что-то на душе у нее творится. Особенно она меняется в лице, когда Саша говорит о сыне. Я подозреваю, что она хочет родить внебрачного ребенка. Нескольким раз заводила речь о какой-то своей подруге, которая хочет стать матерью-одиночкой. Но подруги у нее сейчас нет. Стараюсь не показывать Катерине, что я догадываюсь о ее состоянии. Помочь ей как-то хочется.

А сегодня ко мне на работу зашла свекровь и пожаловалась, что Катенька очень нервная стала, что вчера обругала и ее, и отца, а потом до самого утра плакала в своей комнате, жалела, что затеяла скандал.

Что делать — не знаю! Очень хочу ей помочь. Я еще хорошо помню то чувство одиночества, которое так удручало меня в первый месяц супружеской жизни. И хотя прямым виновником была Катя, я ей уже все простила и сейчас с удовольствием протянула б ей руку помощи, но боюсь быть назойливой.

Да, Владимир Иванович, у нас еще одна добрая весть. Сегодня вечером мы идем с Сашей смотреть нашу новую квартиру в доме, который строил МЖК. Я не дождусь того часа, когда муж придет домой и мы пойдем. Время, как назло, тянется мучительно долго. А мысли все о будущей квартире. И мечты одна фантастичнее другой. Даже самой стыдно становится — такое надумаю.

Но вот слышу его шаги...



РАНО,
НЕ РАНО...

"Мы" – это как бы круг близких людей. Поэтому ждешь, что здесь будут говорить обо всем, не делая вида, будто некоторых проблем вовсе не существует.

Когда читаю на афишах "Дети до 16 лет не допускаются", меня просто смех разбирает. Рожать в пятнадцать лет (знаю такой случай), делать аборты (это и вовсе не редкость) можно, а смотреть фильмы, по которым, чего доброго, догадаешься, откуда берутся дети, нельзя.

Да мы в четвертом классе все это обсудили, а в восьмом... Некоторые девочки у нас – уже "не девочки". Боже, что было бы, если бы узнали их родители и учителя! Не все же такие, как И. Кошелева, автор статьи "Пережить! или Одно лето из жизни школьницы", опубликованной в вашем журнале. Она поняла девочку и не стала ей читать нотаций насчет "грязи", насчет "рано"... А меня вот все-таки волнует этот вопрос – время, когда допустимы взрослые отношения. Иногда слушаю "опытных" подруг, и мне кажется, что в их жизни что-то не так. Но иногда думаю по-другому: без "этого" не может быть любви. И наверное, я просто медленно развиваюсь..."

Н. Л.
г. Балаково

"На переходах в метро операторы продают разные книжонки, размноженные на ксероксе или фотографическим способом. Я вижу, как ребята моего возраста, озираясь, подходят к ним, листают, изображая равнодушие, но при этом у них краснеют уши. Назовите это как хотите – нездоровым интересом или нехорошим любопытством, но, наверное, в 16 лет надо что-то знать о сексе. Только можно ли доверять всей этой литературе для бизнеса?"

Некоторые взрослые, проходя мимо, бросают осуждающе: "Похабство! И не стыдно?" Поэтому хотелось бы получить знания непосредственно от специалистов. Будут ли такие статьи в вашем журнале?"

Анатолий
Ленинград

"Мы" действительно готовы отвечать на все вопросы читателей, тем более, что тема секса, долгие годы окутанная в нашей стране умолчанием, вышла на свет, и в печатном море наблюдается своеобразный сексуальный бум. Встретишь не только кооперативные "книжонки", но и книги солидных издательств, принадлежащие перу авторитетных специалистов, коим безусловно стоит доверять. Статьи о сексе, о культуре половых отношений появляются во многих периодических изданиях. В "Студенческом меридиане", в "Собеседнике", в

местных молодежных изданиях... "Московский комсомолец", например, иронизируя над недавней ханжеской стыдливостью, относящей слово "секс" к нехорошим, а зная о нем к вредным, назвал свою рубрику "про это".

И "Мы" согласны говорить про "это". Каждому, прав Анатолий, необходимы знания о такой сложной сфере жизни, как интимные отношения. Путь собственного опыта и ошибок, порой горьких и непоправимых, здесь не лучший.

Но только зачем обходить стороной то, что уже сказано, написано, издано? И редакция попросила заведующую Информационно-библиографическим отделом Государственной республиканской юношеской библиотеки РСФСР имени 50-летия ВЛКСМ Татьяну Марееву сориентировать вас в книжном потоке.

"Интимная близость может быть и прекрасна и уродлива, она может сделать человека и счастливым и несчастным. Счастливым, когда это наивысшее проявление любви, несчастным – когда это не более, чем проявление биологического инстинкта, необузданного, слепого, а иногда и жестокого", – пишет Л. Н. Тимошенко в книге **"Воспитание старшекласниц"**. – М., 1990. Она адресована учителям, родителям, но будет полезна и, думаю, интересна девочкам, девушкам, тем более, что все статьи, дополняющие книгу, мини-энциклопедии обращены непосредственно к ним: "Акселерация", "Внешность", "Воспитанность", "Ин-

тимные отношения", "Контрацептивы", "Любовь", "Наркомания и токсикомания", "Одиночество", "Совместимость"...

Кто-то, быть может, увидит в приведенной выше цитате некую педагогическую заданность и скажет: опять воспитывают, дали бы лучше знания, разберемся сами.

Изучением проблем биологии пола, половой жизни – биолого-медицинским аспектом, социальном-историческим, психологическим – занимается сексология. О развитии и становлении этой науки, об основных проявлениях сексуальности, границах нормы и патологии вам расскажут такие книги:

Нежданов А. Популярная сексология. – М., 1989.

Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.

Кушнирук Ю.И., Щербаков А.Н. Популярно о сексологии. – 2-е изд. – Киев, 1985.

Проблеме формирования культуры чувств посвящена книга чехословацкого специалиста в области сексологии А. Бема **"Вторая книга о любви"** (Минск, 1984). В первой ее части – "Родителям" – речь о том, как надо говорить с детьми о самой интимной стороне любви, а вторая часть – "Молодежи" – содержит ответы на конкретные вопросы, заданные автору в молодежных аудиториях: допустимы ли интимные связи у девушек до брака? Что считать половыми расстройствами у юношей? Какие венерические болезни существуют и как они лечатся?..

Чуть ли не в каждой книге об интимной стороне жизни встретишь предостережение: нетерпе-

дивность, любопытство, толкающие к первой, порой очень ранней половой связи, неразборчивость, легкомыслие могут плохо обернуться не только для девушек (беременность, аборт), но и для юношей. Первая близость без любви (а чем меньше возраст, тем меньше вероятность сильного чувства) может принести и стыд, и разочарование, и негативное отношение к существу иного пола – "все они такие", и уверенность, что высокие слова о любви – сказки, а в жизни лишь только секс, потому спешит, пока молод. Такой опыт и такое "знание" многое отнимут у человека.

Не ради красного словца сексологи нередко в своих статьях и беседах с молодыми обращаются к древнеиндийскому трактату "Ветка персика".

Три источника имеют влечения человека:

Душу, разум и тело.

Влечения душ порождают дружбу,

Влечения ума порождают уважение,

Влечения тела порождают желание.

Соединение трех влечений

Порождает любовь.

Авторы книги "Вам – юноши и девушки" А.Н. Ступко и С.В. Соколова (Киев, 1989) прослеживают историю развития любви, путь от примитивной привязанности первобытных людей к сложнейшему сплаву чувств и эмоций, который Стендаль назвал "чудом цивилизации". Обращаясь к произведениям поэтов, писателей, мыслителей прошлого, раскрывают суть чувства влюбленности и его отличие от настоящей любви. Говорят о тех осно-

вах культуры половой жизни, знание которых необходимо юношам и девушкам. Книга является продолжением их предыдущих работ: "Тебе – девочка, девушка" (Советы врача). – 2-е изд. – Киев, 1984. и "Тебе – мальчик, юноша" (Советы врача). – 2-е изд. – Киев, 1984.

А вот книги, выпущенные совсем недавно.

Росситер Ф.М. Все о сексе (Вопросы и ответы). – М., 1990. Ее название говорит само за себя – и о содержании, и о доступной форме изложения.

Вислоцкая М. "Искусство любви". – М., 1990.

"Искусство любви" Михалины Вислоцкой – одна из самых популярных массовых книг по сексологии, изданных в Польше. В Советском Союзе ничего похожего никогда не выходило", – пишет в предисловии доктор философских наук, профессор И.С. Кон, считая главным достоинством этой книги то, что она говорит о сексуальности спокойно и просто, как о вполне естественной и чрезвычайно важной стороне человеческой жизни и культуры.

Книга адресована широкому кругу читателей – молодоженам и тем, кому в скором времени предстоит вступить в брак. Но есть разделы и главы, содержащие знания, необходимые человеку в 13–17 лет. "Детство и период полового созревания", "Юношеская любовь" (в этом разделе две главы – "Эмоциональный и чувственный мир девушек и юношей", "В поисках общего знаменателя"), "Первые шаги вдвоем" ("Не следует начинать слишком рано", "Когда начинать?").



Фото Геннадия САВКИНА

Из книги
Михалины ВИСЛОЦКОЙ

”ИСКУССТВО ЛЮБВИ”

...У мальчиков чуть ли не с момента достижения половой зрелости сексуальное напряжение за короткий промежуток времени доходит до максимального уровня...

У девочек при низком уровне сексуального напряжения значительно раньше начинает проявляться стремление к эмоциональной любви, когда они ищут партнера, которого можно превратить в ”собственность”, не испытывая при этом

потребности в половой близости. Механизмы сексуальной возбудимости у них еще несовершенны. Развитие эротической чувствительности и нормальной функции многочисленных рецепторов кожи и половых органов – длительный и очень сложный процесс, и богатая эмоциональность помогает девочкам легче перешагнуть порог детства.

Мальчик, который в этот период испытывает чрезмерное сексуальное влечение, ищет общения с девочками с интересом и любознательностью неопытного щенка (как образно выразилась одна из моих молодых пациенток). Прикоснуться, подсмотреть – этим занято его воображение.

У юноши появляется неосознанная тяга к физической близости с целью снятия сексуального напряжения, хотя его эмоциональность находится в зачаточной стадии развития. При этом он избегает брать на себя какие-либо обязательства или давать обещания, поскольку девушка для него в этот период жизни – лишь объект, открывающий новизну чувственных познаний. Замечено, что чем сообразительнее и начитаннее юноша, тем искуснее он может изобразить видимость любви. Быстро сориентировавшись и поняв, что ради достижения намеченной цели надо активнее воздействовать на воображение девушки, он заучивает набор фраз о любви, шантажирует свою партнершу тем, что перестанет с ней встречаться, если она "не захочет доказать ему свою любовь", и т.п.

...Если девушка уступает, то

обычно одним "доказательством любви" дело не заканчивается, за ним следуют другие, а затем наступает беременность. И возникает вопрос: как жить дальше?

...Во времена моей молодости трудно было даже представить, чтобы молодая девушка, случайно познакомившись с мужчиной, согласилась сразу отправиться с ним на прогулку, посетить кафе, ресторан или поехать на отдых в безлюдные места. Бывали случаи, когда родители не позволяли своим дочерям встречаться с кавалерами без провожатых, например "спутницы-компаньонки", присутствие которой защищало от физической агрессии со стороны представителей сильного пола.

Сейчас нам смешно об этом вспоминать. Девушки ездят с незнакомыми молодыми людьми на экскурсии, завязывают случайные знакомства с мужчинами на улицах, соглашаются пойти с ними "погулять" в лес или "весело провести время" в чужой квартире. Им кажется, что, поступая таким образом, они идут в ногу с прогрессом и современностью, и возмущаются, если им скажут, что их поведение недопустимо легкомысленно. К сожалению, многие родители также не отдают себе отчета в том, что их дочери играют с огнем, и считают излишним заводить с ними беседы на эти темы.

Юноше порой очень трудно "бороться" со своим половым влечением, и девушка должна знать, что ее бездумное поведение может стать поводом к изнасилованию, и если она не хочет допустить этого, то не должна до-

водить дело до рискованной ситуации.

...В несостыковке подходов и взглядов подростков в возрасте до 17 лет на юношескую любовь изначально заложен источник многих конфликтов и недоразумений. Юноша, как я уже отмечала, пытается тем или иным способом найти объект для снятия сексуального напряжения, в то время как девушка рисует в своем воображении разнообразные картины несуществующей любви и верности. Она ищет у своего избранника мужского понимания, поддержки и дружбы, не имея ни малейшего представления, что все это недостижимо в юном возрасте. Часто эмоциональные разочарования приводят к комплексам и расстройствам психического состояния или же девушка приходит к выводу: раз все парни одинаковы, то следует, видимо, примириться с действительностью и уступить (забывая, что за последствия придется отвечать только ей).

Дополнительные трудности в юношеских конфликтах создаются расшатывающимися связями детей и родителей, преклонением перед авторитетом ровесников и единодушным мнением подростков – юношей и девушек, – что взрослые безнадежно отстают, ничего не понимают и ни в чем не разбираются. Это еще хорошо, если после ошибок неудачной юношеской любви от нее останутся в памяти только неприятные воспоминания. Не надо забывать, что этот возраст характеризует психическая неустойчивость, обусловленная происходящими в организме гормональными изме-

нениями; эмоциональные потрясения у менее уравновешенных девушек могут даже заставить их решиться на самоубийство. К сожалению, такие случаи перестали быть редкостью.

...Мне хотелось бы обратить внимание читателей на негативные стороны преждевременных половых связей...

Заранее оговариваюсь, что мои рассуждения не имеют ничего общего с намерением создать очередную – на сей раз собственноручного производства – инструкцию по сексуальным отношениям молодежи. Просто я попыталась показать различные аспекты данной проблемы, предоставив молодым читателям материал для самостоятельного осмысления и выбора наиболее разумного, с меньшими для них потерями, варианта ее решения.

Эмоциональность человека развивается с течением лет под влиянием жизненного опыта. С самого рождения ребенок учится любви у матери, затем у отца и друзей. Если молодые люди начинают половую жизнь до 16 лет, то физический аспект интимных отношений опережает у них развитие эмоциональности. В дальнейшем им суждено страдать от эмоциональной недоразвитости – то же самое, кстати, происходит и с малышами, лишенными в детстве материнской ласки. Переход к сексуальным контактам сразу после периода полового созревания (в возрасте 12 – 16 лет) может привести к эмоционально психическим изменениям, которые я назвала болезнью "дефицита любви".

ФИЛЛИС

Перевод с английского Владимира ЛЬВОВА

Часть седьмая

АННА ГОЛЬДМАРК

Сидя со мной в машине, направлявшейся в сторону Западной Сто семьдесят четвертой улицы, Филлис рассказывала о матери и о себе. А рассказывать об этом ей было нелегко. Она вела личную невидимую войну, как я вел свою, и мы оба жили каждый в собственном мире теней. Не могу четко выразить, что же объединило нас в тот момент, но объединившая нас сила была значительнее, чем думал любой из нас двоих: и если основой нашего сближения послужила отнюдь не романтическая любовь, которая, если верить книгам, только и должна соединять мужчину и женщину, то и тут все было понятно: мы были не молоды и не светились радостью юности. Быть может, мы нашли опору друг в друге оттого, что оба оказались в отчаянном положении. Мы, по крайней мере, оказались нужны друг другу и медленно, но верно учились ценить друг друга.

Филлис рассказала мне о матери, то и дело сжимая руки на коленях и опуская глаза. Вначале речь ее была медленной, но затем она заговорила быстро, ведя рассказ о женщине, приехавшей из Европы и ничего особенного не добившейся. Здесь не оказалось молочных рек и кисельных берегов, только работа, бесконечная работа, которая не уменьшалась и не кончалась.

— Гляжу я на нее, — говорила Филлис, — и пробую понять ее, но тут же сомневаюсь, понимаю ли я самое себя. То есть начинаю я с того, что, зная, что люблю ее больше всего на свете, обдумываю, как дать ей мир и счастливый покой; и тут любовь моя обращается в жалость, и я сама себя спрашиваю, не говорит ли во мне чувство вины. Вы меня понимаете? Понимаете, что я хочу сказать?

— Похоже, да, — соглашаюсь я. — Похоже, мне понятно, что вы хотите сказать. Моя мама из других краев, но суть та же.

— Я знаю, как это повлияло на меня, — продолжала Филлис. — Знаю, что подстраивала свою жизнь под нее.

— Это естественно, — сказал я. — Тут нет ничего ненормального.

— Я не видела в этом ничего ненормального, пока не встретила

с вами, Клэнси. Я все называю вас Клэнси, а не Томом. Вы не возражаете?

— Нет, не возражаю.

— И вот когда я с вами встретилась... Вы не поверите, если я скажу, что тогда подумала. О таких вещах, конечно, не говорят вслух, но мне кажется, что можно и сказать, тем более, мне станет легче, если скажу. Первое, что я сказала себе, было: "Ради Бога, Филлис, не испорти ничего на этот раз!" Понимаете, Клэнси? Мне ужасно хотелось вам понравиться. Я взглянула на вас и сразу страшно захотела, чтобы вы обратили на меня внимание. А после этого приехала домой, посмотрела на маму и с ужасом поймала себя на том, что ненавижу ее. Можете представить себе такую страшную ситуацию, Клэнси? Как можно ее ненавидеть? Нежную, добрую, милую, самоотверженную. Я для нее — свет в окошке. Она часто говорила, что без меня жизнь ее лишена цели и смысла. Как-то она сказала мне, что без меня она бы лишилась веры, прокляла бы Бога, швырнула бы свою жизнь ему в лицо. Понимаю, что по-английски это звучит дико и мелодраматично, но как она это сказала. Она просто пыталась дать мне понять, что я для нее значу.

— Все мы существуем лишь потому, что что-то для кого-то значим, — произнес я. — Ни вы, ни ваша мама в этом смысле не отличаются от других.

— Но, Клэнси, видит Бог, я посмотрела на нее и возненавидела ее!

— Не навечно же!

— Вот именно. Вы правы. Ненависть тут же ушла, но я стала другой. Во мне все перевернулось, и на следующий день я думала только об этом.

— Об уходе из университета по собственному желанию?

— Откуда вы знаете? — прошептала она.

— Понял, общаясь с вами, — объяснил я. — Со мною было несколько иначе. Я поступил на работу в университет. А потом познакомился с вами.

— Все произошло так быстро. Даже слишком быстро.

— Не знаю. Не знаю даже, применимо ли слово "быстро". И является ли оно синонимом слов "хорошо" или "плохо".

— Но окончательно я перестала ее ненавидеть тогда, когда рассказала о вас. Я рассказала ей все, что тогда о вас знала, и все, что тогда о вас думала. Сказала, что все будет хорошо, что не может не быть хорошо, и тут она захотела познакомиться с вами и поглядеть на вас. Вот почему я везу вас к нам домой. Я хочу, чтобы вы поняли ее, потому что, когда поймете, то полюбите.

— Уже полюбил, — сказал я. — Не тревожьтесь, Филлис.

— А мне не по себе, Клэнси. Я слишком немолода, чтобы в первый раз в жизни влюбиться — по-настоящему, — и из-за этого полна страхов и опасений. Нет уверенности, нет ощущения прочности, но я не хочу просить вас дать мне все это. Я должна обезопасить себя сама.

— Да, Филлис, — согласился я. — Я этого дать не могу. Вам придется думать самой.

— Вот я и говорю о том, что буду делать я. Не вы. Вы не делали мне предложения — я не имею права даже ожидать от вас предложения. Все это выстроила в воображении я сама. Глупая малышка, придумывающая волшебные сказки и переселяющаяся в мир вымысла. Понимаете, как это плохо?

— Не вижу в этом ничего плохого. Люди сами создают для себя такой мир, и если у них нет своего мира грез, то зачем жить? Но я хочу есть. Ваша мама хорошо готовит?

— Хорошо, — улыбнулась Филлис. — Очень хорошо. И сегодня, Клэнси, она приготовит свои коронные блюда.

Филлис показала мне, как ехать, и я свернул с Бродвея на Форт-Вашингтон авеню, сбавил скорость, ища места для стоянки. Место нашлось только у Сто семьдесят шестой улицы. Оттуда мы пошли пешком. И дошли до серого, бесформенного, безликого многоквартирного дома. Лет двадцать пять — тридцать назад этот дом мог даже считаться элегантным. Теперь здание обветшало, стало грязным и неопрятным. В вестибюле нас встретил застоявшийся прогорклый запах еды, лифт самообслуживания оказался металлической дешевкой, причем кабина была исцарапана без всякого смысла живущими здесь отчаявшимися детьми, готовыми сорвать зло на мир на первом же попавшемся предмете. Мы поднялись на четвертый этаж и вышли в холл.

Филлис шла первой. Она позвонила, но не дождалась, пока откроют дверь, вынула ключи: сама открыла дверь и крикнула неожиданно юным и веселым голосом:

— Мама, я приехала!

Она толкнула дверь плечом и сказала:

— Заходите, Том! Проходите!

Она больше не звала меня Клэнси. Я вошел в маленькую, заставленную вещами прихожую, подождал, пока Филлис повесит пальто и войдет в соседнее помещение, оказавшееся, как я потом понял, кухней. Филлис сказала что-то на пороге, вдруг осеклась на полуслове и закричала. Крик был негромкий. Он не был истерично-пронзительным: это был низкий вой, как от непереносимой боли, и когда я ворвался вслед за ней, увидел то, что увидела она: тело матери, распростертое на полу.

Я оттащил ее в гостиную и крепко держал, а она дрожала, плакала и умоляла отпустить ее, чтобы оказать матери помощь.

— Ей уже нельзя помочь, Филлис. Она мертва. Поймите, ваша мама мертва. Вам туда заходить незачем.

— Откуда вы знаете, что она мертва? Я не могу оставить ее на полу. Откуда вы знаете, что она мертва?

Я знал. И мне вдруг пришло в голову, что значительную часть своей жизни я посвятил работе, в ходе которой люди умирали, и признаки смерти были написаны у них на лицах. Мне удалось убедить Филлис оставаться на месте, а сам я вернулся на кухню и стал осматривать тело ее матери. Мне довелось повидать множество смертей в разном обличье, мне были знакомы ужас смерти, ощущение бесцельности и

пустоты. Но я никогда не видел, чтобы женщину пятидесяти пяти лет забили до смерти столь зверским образом — бессмысленно и безумно. Шея сломана, на теле синяки и шрамы, кожа содрана кастетом. Жестокое, бесчеловечное воплощение злобы, живущей в существе, выдающем себя за человека среди людей. Я взглянул на нее, дотронулся до нее, нащупал пульс, хотя в этом не было никакой необходимости, затем вышел и затворил за собой дверь.

Филлис сидела там же, где я ее оставил, и когда я вошел, беззвучно задала немой вопрос. Я кивнул.

— Филлис, ваша мама мертва. Это факт. Ходить и смотреть на нее не надо. Поверьте мне: мама мертва, ее убили.

— Кому понадобилось ее убивать?

Тут я солгал, сказав, что не знаю, хотя знал наверняка.

— Клэнси, скажите, почему убили маму? Скажите, прошу вас.

— Не знаю, Филлис. Так уж случилось. И тут ничего не поделаешь. Придется принять все, как есть.

— У нее не было врагов, Клэнси. Не было на всем белом свете. Было время, когда я ее возненавидела, но это продолжалось недолго. Клэнси, ведь не было человека, который бы ее ненавидел. Не было.

И она заплакала. А я прошел в спальню. В спальню Филлис, маленькую, но веселую, с занавесками из органди, с ярким гобеленовым пледом на постели. Не вдумываясь в увиденное, я просто окинул взглядом всю жизнь Филлис, сосредоточенную в этой комнате: кукол, плюшевых зверушек, бережно хранимых много лет, книги, мелочи, вся ценность которых заключалась в том, что они имели отношение к хозяйке. Взгляд мой был беглым поневоле: я шел к телефону, чтобы позвонить на Сентер-стрит. На этот раз я попросил соединить меня прямо с Камедеем и, связавшись с ним, рассказал обо всем, что случилось. Он распорядился ждать его приезда и до этого ничего не трогать. Просто ждать. Я вернулся к Филлис. И сидел с ней до приезда Камедее. Говорил ей что-то, но больше молчал, а она, с побелевшим лицом, пыталась осмыслить обрушившееся на нее горе и осознать, кому же понадобилось убить маму. Мое горе было иного сорта, и я вел долгие беседы сам с собой, когда не разговаривал с Филлис. Независимость от обстоятельств, убийство спровоцировал я. Оно не было результатом ненависти или неприязни, но предметным уроком. Мне дали понять, что им известно о моем непослушании, о том, что я не играю в их игру, что не двигаюсь в том направлении, в котором обязан, по их мнению, двигаться; и потом, что значит жизнь немолодой женщины в игре, где ставки идут на миллионы долларов и миллионы жизней? Так я мысленно разговаривал сам с собой, вслух утешал Филлис, пока наконец не приехал Камедей в сопровождении Фредерикса из департамента юстиции и целого стада специалистов из отдела по расследованию убийств: полицейских в форме и штатском, экспертов по отпечаткам пальцев, фотографов и прочих экспертов из мира насильственной смерти. Вдобавок явились соседи, готовые помочь и толпой рвущиеся поглядеть на тело.

Я еще больше зауважал Камедее: он привез с собой сотрудницу

Рисунки Левона ХАЧАТРЯНА



полиции, которая одновременно являлась дипломированной медсестрой и занялась Филлис — дала ей успокоительное и тем обеспечила несколько относительно легких часов жизни. Мне же удалось договориться только об одном: чтобы Филлис не задавали никаких вопросов. До Камедея дошло, что у нее на них не найдется ответов и что любые вопросы, адресованные ей, нужно переадресовывать мне.

Его мир был более заорганизован, чем мой, и он лишь с большим трудом вынужден был согласиться, что такое бессмысленное, зверское убийство могли совершить в качестве предметного урока и предупреждения. Мы сидели и беседовали в гостиной, и Камедей все время возвращался к мысли о том, что мы имеем дело со случайным совпадением: с приходом воров или налетчиков. В конце концов, город велик, и каждую неделю случается нападение на одинокую женщину, иногда заканчивающееся убийством.

— Как сегодня? — спросил я Камедея. — Приходит простой вор или налетчик и убивает женщину, как сегодня?

— Бывает, — сказал он.

— Бывает, — согласился я, — но когда это случается с матерью Филлис Гольдмарк и когда это случается в тот день, когда я к ней еду, и когда это случается так, как это случилось, случайное совпадение становится весьма сомнительным. Так, Камедей, не бывает, и вы это знаете.

— Я ни черта не знаю, — ответил он.

Нас в комнате было трое: Камедей, Фредерикс и я — и я сказал Камедею:

— А не пора ли что-то знать? А не пора ли что-нибудь узнать? Не пора ли узнать, сколько теперь стоит эта ваша самодельная бомба? Вчера мне за нее предложили полмиллиона долларов!

— Так-таки и предложили! — заорал Камедей.

— Это все еще семечки! — отпарировал я. — Жду более крупных сумм!

— Надо было сообщить об этом, — сказал Фредерикс. — Так у вас ничего не получится, если вы не будете информировать нас о столь серьезных вещах. Надо было об этом сообщить.

— А начальник полиции уже устал от моих сообщений, — заметил я.

— Почему вы мне ничего не сказали? — выпалил Камедей.

— Вы поручили мне разыскать Хортона, — сказал я. — А это сообщение не несет в себе ничего нового. Каждый может подойти и сказать: "Вы знаете, Клэнси, получите миллион долларов". Это всего лишь слова, а слова стоят дешево.

— Не каждый подойдет, — произнес Фредерикс.

Я поглядел на него:

— Не каждый, а только тот, Клэнси, кто знает о бомбе. Мне не хочется думать, Клэнси, что вы начинаете скрывать то, что знаете. Из этого могут получиться одни лишь неприятности.

Камедей бросил на меня отчужденный взгляд и тихо спросил:

— Вы найдете Хортона, Клэнси?

— Найду, — ответил я.

После этого я пошел к Филлис. Ей дали успокоительное, и она лежала поверх покрывала, укрытая халатом. Рядом сидела сотрудница полиции. Я наклонился и поцеловал Филлис в щеку. Она прильнула ко мне.

— Не покидайте меня, Клэнси, — сказала она.

— Не покину, — ответил я, — поверьте, не покину. Больше не покину вас, Филлис. Но теперь надо связаться с вашими родственниками. Посоветуйте с кем.

Она дала мне номера телефонов, и я позвонил тетке и двоюродной сестре — той, что живет в Грейт-Нек. Я не вдавался в объяснения по телефону, а просто сообщил о скоропостижной смерти миссис Гольдмарк, сказав, что звонит друг Филлис и что надо договориться о церемониале похорон. Я стал гораздо более уважительно относиться к Джеку Голдену, когда он в ответ на мой звонок сразу же вызвался приехать и немедленно заняться всеми делами. А тетка выразила готовность прибыть в квартиру Филлис и остаться у нее на ночь.

Затем я вернулся в гостиную и попросил Камедей поставить у дома Филлис человека на всю ночь. Камедей согласился. И еще я попросил у него пятьсот долларов на непредвиденные расходы. Камедей решил, что сумма более чем достаточная. Мир может валиться в тартарары, но это еще не основание выделять рядовому сотруднику на непредвиденные расходы пятьсот долларов. И все-таки я убедил его. Филлис я предупредил, что еще приеду, и отправился с Камедем в центр за деньгами.

Часть восьмая

И ОПЯТЬ ВАНПЕЛЬТ

Камедей протянул через стол пятьсот долларов, сверля меня холодным взглядом. Я понимаю его состояние: в первый раз в жизни он вручал оперативному работнику такую сумму. Он, очевидно, думал, что я подрываю устои управления и открываю новую эру бессмысленных трат. Он не сводил с меня глаз, когда я засовывал деньги в бумажник, и не смог удержаться от замечания:

— Тут целая куча денег, Клэнси. Не знаю даже, что вы с ней собираетесь делать.

— Остаток я верну, — заметил я.

— Такая сумма, — продолжал Камедей, — способна свести с пути истинного любого полицейского.

— Послушайте, — устало проговорил я, — разве я не принес сюда сто пятьдесят тысяч долларов?

— Это другое дело.

— Само собой разумеется, другое, — согласился я. Когда я поднялся, Камедей остановил меня:

— Потерпите минутку. Что с вами происходит? Вы что, влюбились в эту девушку?

— А разве это не входит в мои служебные обязанности?
— Слушайте, Клэнси, не говорите ерунды. Какие еще обязанности? Ни вы мне ничем не обязаны, ни я вам. Мы просто делаем все, что в наших силах.

— Вот именно: я делаю все, что в моих силах, — высказался я.
Я вышел.

На улице я поднял воротник, сунул руки в карманы и пошел прочь. Вечер был холодный и сырой, и кости мои несли в себе усталость, смерти и горя. Я ничего не чувствовал, точнее, мои ощущения были столь многообразны, что в сумме не давали ничего. Казалось, моему начальнику Джону Камедею нет никакого дела до того, влюбился я в Филлис Гольдмарк или какую-нибудь другую женщину. Я пытался убедить сам себя, что и ко мне Филлис не имеет никакого отношения, но тут меня постигла неудача. Ужас смерти, ужас безысходности охватил меня: я был полон до краев и даже через край и всем тем, что характерно для нашего времени: цивилизованной жестокостью и варварским зверством, безотчетными страхами и отчаянной неопределенностью. Я мог внушить себе только одно: я играю в идиотскую игру с командой окруживших меня идиотов, а я достаточно хорошо — или достаточно плохо — образован, в зависимости от того, как посмотреть, чтобы знать, что сегодня, как и тысячу лет назад, не существует ответов на вопросы, чем мы занимаемся, откуда идем и куда направляемся. У меня в кармане пятьсот долларов: я мог бы сесть в такси, доехать до аэропорта и взять билет куда-нибудь — куда угодно. Я был уже потерян, так что имело смысл спросить себя, а не потеряться ли вообще, целиком и полностью и навсегда.

Я решил, что имею полное право спросить себя, влюблен ли я, и прочесть себе лекцию, что я не собираюсь влюбляться, не хочу влюбляться, иначе под угрозой окажется все дальнейшее существование и возможность сопротивляться. Я мог бы преодолеть и победить все, что угодно, в этом мире, не мною созданным и не мною избранным для бременного существования. Если бы не женщина. Я уже пережил смерть единственной любимой женщины, и мне это далось нелегко, а ныне меня одолевал чудовищный страх за Филлис. Страх, ощущаемый головой, сердцем и желудком, и я сдерживал себя, чтобы не пойти к ближайшему автомату, позвонить ей, чтобы убедиться, что она жива и невредима.

Все это я обдумывал, пока шел по вечернему городу; повернув в восточном направлении на Канал-стрит, я сделал то, от чего себя отговаривал: зашел в аптеку и позвонил. Сотрудница полиции все еще была там и сказала мне, что Филлис спит. Голден должен был приехать с минуты на минуту, тетка уже прибыла, а у двери стоял полицейский.

— Когда проснется, — попросил я, — передайте, что я звонил.

— Думаю, она будет спать до самого утра, — ответила сотрудница полиции.

Тут я почувствовал, что голоден как волк, и повернул на Мотт-стрит: там у меня знакомое местечко, где хорошо кормят. Хозяин Лин Чжун

подошел к моему столику и вел со мною вежливую уважительную беседу, пока я набивал себе брюхо морским окуном, жаренным по-китайски, и бобами, запеченными в твороге. Наконец, он заметил, что я ем скорее от обиды и отчаяния, чем из чувства голода.

— А это, Клэнси, — заметил он, — не есть цивилизованный подход к пище. У нас здесь изысканная еда, но лишь изредка у нас бывают посетители, разбирающиеся в этом. Я считал вас одним из таких посетителей, и мне огорчительно видеть, что вы так расстроены.

Я ответил:

— Послушайте, Чжун, вы живете на острове посреди бушующего мира. Как одно сочетается с другим? Не беспокоит ли вас мир по временам?

— Самый обеспокоенный человек на свете — это полицейский, — задумчиво произнес Чжун. — Знаете, Клэнси, в старые времена полиции вообще не было. Полагаю, что впервые полиция, как организация, появилась в Лондоне в девятнадцатом веке. Так что полицейский — явление новое и до конца не разработанное.

— Поверьте, он разработан, как следует...

— Нет, я не совсем то имею в виду. Вы спросили меня про остров, который зовется Китайским кварталом. Мир соприкасается с нами, но мы воздвигаем вокруг себя стену. Воздвигаем потому, что мы очень древний народ, не поддающийся до конца модернизации. Думаю, что стену вокруг себя надо строить каждому. Но не полицейскому. Он не огражден от жизни даже ширмой, а иначе жизнь понималась бы им с трудом при полной неготовности его познавать в отличие от врача или священника.

— А теперь скажу, что думаю на этот счет, — произнес я. — Думаю, что каждый из вас, чертовых китайцев, несет на себе бремя необходимости все время доказывать, что и он философ. А по мне, всякая грошовая философия, да еще подогретая на случай, — чепуха.

— Тут вы попали в точку, — согласился Чжун. — Конечно, вы не охватили вопрос целиком, но именно тут вы попали в точку.

Доев рыбу, я спросил:

— Скажите, Чжун, как бы ваша философия отреагировала на такой факт: скажем, через две недели мир перестанет существовать?

Чжун пожал плечами.

— Вы и я сегодня живы, Клэнси. Никто не может гарантировать нам существование через две недели. Конец света может наступить и завтра. Когда я изучал статистику и теорию вероятности, я осознал, что мы живем по законам арифметики; и мы, и Вселенная существуем благодаря действию закона средних величин.

— Хладнокровно и пессимистично. А когда это вы изучали курс статистики?

— Было время, когда мне всерьез хотелось стать специалистом в области страхования. Я даже мечтал, как я стану азиатским магнатом страхового мира. А кончил я тем, что владею китайским рестораном.

— А я кончил тем, что стал полицейским, — сказал я.

Потом доел заказанное и взял у Чжуна телефонную книгу. Там нашел

нужный адрес, затем попрощался с Чжуном и задумался, стоит ли ехать за машиной. Решил, что забрать ее я смогу и завтра, и поехал на такси по адресу, найденному в телефонной книге. Было около двенадцати ночи, когда я позвонил в дверь квартиры Ванпелта.

Он жил в доме из коричневого камня на Сто двенадцатой улице неподалеку от Риверсайд-драйв. Квартира Ванпелта находилась на четвертом этаже и, как множество квартир в перепланированных домах из коричневого камня, состояла из большой квадратной жилой комнаты, маленькой кухоньки и маленькой гардеробной. Когда он открыл дверь, он, конечно, удивился, увидев меня, — удивился до такой степени, что даже не ответил на приветствие. Он проводил меня в комнату и затворил дверь. На нем была рубашка с длинными рукавами и поверх рубашки — шерстяная безрукавка. Ванпелт в это время смотрел телевизор и заодно прикладывался к бутылке. Был он чуточку пьян, но не более того. Когда он направился выключить телевизор, то двинулся прямо, но когда после этого повернулся ко мне, то не мог сосредоточить взгляд и глядел в пустоту, да и речь у него была затрудненной. А сказал он мне, что хотя и удивлен моему приходу, но рад. Попытался улыбнуться, извинился за беспорядок, подчеркнул, что обычно в доме чисто и прибрано. Я снял шляпу и пальто и швырнул их на старый пестрый горбатый диван. Ванпелту захотелось узнать, не выпью ли я с ним. Я отказался.

— Что ж, — сказал он, — хотя для светского визита поздновато, я все равно польщен. Действительно польщен. Засыпаю я плохо. И вообще раньше двух не ложусь. Вы правда не хотите выпить?

— Правда.

— У меня тут потому неудобно, — продолжал Ванпелт, — что уборщица убирает по утрам не слишком аккуратно. Вот почему ближе к ночи все выглядит не очень-то красиво.

— Знаете сегодняшние новости, Ванпелт?

Уставившись на меня, он отрицательно покачал головой. Потом вернулся к качалке, где сидел до моего прихода, плюхнулся и выпил.

— А меня это касается? — спросил он. — Случилось что-то важное?

— Мать мисс Гольдмарк убита.

Он поставил стакан и поглядел на меня непонимающим взглядом.

— То есть мать Филлис?

— Вот именно, Ванпелт, сегодня убили мать Филлис.

— Это ужасно, — медленно произнес он, — это очень страшно.

Тут он опять взялся за стакан, но я выбил стакан у него из рук, схватил за ворот, вытащил из качалки и швырнул на диван. Рубашка на Ванпелте разорвалась. С дивана он скатился на пол. Поднявшись с пола, дрожа, уставился на меня.

— Что случилось, Клэнси? Что вы делаете? Вы же мне друг!

— Прекратите чушь молоть! Какой я вам друг, Ванпелт? Мне от вас тошно!

— Я вас сюда не звал, Клэнси! — завопил он. — Я ведь правда вас сюда не звал!

— А я пришел без приглашения. Вчера вы лопались от важности.



Ванпельт. Говорили умно, многозначительно, называли полмиллиона долларов... Полмиллиона долларов — за что?

Ванпельт медленно покачал головой. Я еще раз встряхнул его. Мне было стыдно и противно, но еще противнее мне было ощущать горячее пьяное дыхание Ванпельта: однако начатое дело нельзя бросать на полпути. Начал — доводи до конца. Я слишком долго ждал, больше медлить было нельзя.

— Так что же вы желали приобрести за полмиллиона долларов Ванпельт? Что? И чьими деньгами так легко швыряетесь? Кто за вами стоит и с кем вы в сговоре?

Ванпельт залепетал:

— Я блефовал, я просто блефовал. Клянусь, Клэнси, я просто блефовал. Действовал наугад. Пытался понять, в чем дело. А разве вы не пытаетесь угадать, в чем дело?

— Пытался, — ответил я.

— Тогда вы меня понимаете.

— Ни черта не понимаю.

Ванпельт меня боялся, боялся до ужаса и даже не понимал, что до этого боялся-то я. Он мямлил, дергался и все пытался объяснить, как иногда сидишь, ждешь, следишь и надеешься, что произойдет некое событие, из которого можно будет извлечь деньги.

— Вы предложили мне деньги! — заорал я. — Вы, жирный, несчастный сукин сын, предложили мне деньги? Чьи деньги?

— Поверьте, Клэнси, я же сказал, что все это блеф!

Держа его левой рукой, я ударил правой. Ударил два раза, и он сполз на пол, а по щекам потекли слезы.

— Уйдите, — взмолился он, — уйдите и оставьте меня в покое. Черт, вы не имеете права вот так приходиться и бить меня. Оставьте меня в покое!

Я наклонился, схватил его за ногу и поволок по кругу. Он перевернулся лицом вниз, я двинул его ногой в зад и велел ему встать. Он приподнялся. Слезы так и лились потоком. Он глядел с ненавистью и безнадежностью.

— Кто вас нанял? — закричал я.

— Меня никто не нанимал, — захныкал он. — Клянусь Богом, Клэнси, меня никто не нанимал. Я догадался, что вы полицейский, или агент ЦРУ, или фэбээровец, или еще кто-нибудь, и до меня дошло, что дело нешуточное. Не надо особого ума, чтобы догадаться, что за исчезновением Хортонна скрывается что-то крупное. И тут я сказал себе: если вас специально направили выяснить, где он, то знание места его пребывания или других сопутствующих обстоятельств, которые вам удастся выяснить, может стоить больших денег.

— Не делайте вид, что вы до такой степени дурак, Ванпельт, — с отвращением произнес я. — Таких дураков на свете не бывает, Ванпельт.

— Если я такой, значит, бывает, — ответил Ванпельт. Потом закрыл лицо руками и заплакал. Потом опустил руки и поглядел на меня сквозь слезы. — Что вы собираетесь со мной сделать, Клэнси?

— Ничего, — сказал я, надел шляпу и пальто и вышел. А он все еще сидел на полу, и слезы текли по щекам.

Я понял, что лучше бы мне вообще на свет не родиться. Ненавидел я не Ванпелта — одного себя. Шел я долго и когда посмотрел на название улицы, то обнаружил, что нахожусь на углу Восемьдесят шестой улицы и Бродвея. Зашел в бар и выпил. Четыре раза. Мне хотелось напиться. Но после четырех порций спиртного я был абсолютно трезв и холоден, без малейших надежд на счастье. Я расплатился и пошел домой, зашел в разгромленную квартиру и вполз на порванный матрас.

Часть девятая

РАВВИН ФРИМЕН

В шесть сорок пять меня разбудил телефонный звонок. Когда я снял трубку и что-то пробормотал, мне ответил Дмитрий Гришев, свеженький, как огурчик, и заявил, что ему надо со мною встретиться.

— Только не сегодня, — попросил я Гришева. — Бога ради, подождите. Нет таких вещей, которые нельзя было бы отложить на завтра.

— Откладывать нельзя, — сказал Гришев.

— Сегодня похороны. Неужели вы не понимаете? У меня дела, Гришев. И потом, сейчас без четверти семь.

— Я знаю ваш адрес, — сказал Гришев. — Буду через полчаса.

Когда он приехал, я брился. Вышел на звонок из ванной с намыленным лицом, отворил дверь и пошел в ванную добриваться, оставив открытой дверь, чтобы видеть гостя в зеркале.

Сняв шляпу и пальто, он ходил взад-вперед по комнате, разглядывал следы разгрома. Я, конечно, попытался кое-как навести порядок, прибраться и почиститься; но все мои усилия к заметным результатам не привели. В зеркале я видел, как Гришев остановился, поднял с полу разорванную картину и стал ее рассматривать. Затем он занялся массивным креслом с порванной обивкой. И когда я, наконец, вышел из ванной, чисто выбритый и готовый вступить в контакт с окружающим миром, Гришев стоял посреди гостиной и разглядывал все вокруг.

— Я не всегда живу в такой обстановке, — заметил я, ставя кофе и открывая банку хорошо замороженного апельсинового сока. — Лишь время от времени.

— Понимаю, что не всегда, — торжественно заявил Гришев. — Так кто же вас навестил?

— Не знаю. Может быть, тот же сумасшедший, что убил Анну Гольдмарк.

— А что он искал?

— Сто пятьдесят тысяч долларов.

— Ну-ну! И нашел?

Были минуты, когда Гришев представлялся мне вполне терпимым в общении: иначе говоря, были минуты, когда я перевозмогал воспитан-

ную во мне неприязнь к тому, кем он был и что защищал, и мог оценивать его своеобразное чувство юмора. Впрочем, я не уверен, что оно у него было. Его, скорее всего, тренировали не давать волю смеху. Конечно, он то и дело улыбался, но как бы заранее знал, зачем он это делает, и мне казалось, что он говорит сам себе: "А вот теперь наступил момент, когда вам, Дмитрию Гришеву, надлежит улыбнуться". Естественно, такое предположение могло быть лишь плодом предубеждения, а преодолеть предубеждение очень и очень нелегко. Однако мне всегда было видно, когда Гришев превозмогает себя и пытается быть приятным в общении. И когда я сказал ему, что денег этих визитеры не нашли, он позволил себе слегка улыбнуться и осведомился, всегда ли я держу при себе такие суммы денег.

— Не всегда, — признался я.

— Страна у вас, конечно, богатая, — сказал Гришев, — но даже в нашей стране, если бы в ее распоряжении было десять мирных лет для создания надлежащей экономической структуры и она бы стала намного богаче вашей, полицейским столько бы не платили.

— Меня попытались подкупить, Гришев, — объяснил я. — Сюда явились двое нелепых мужчин и вручили мне в качестве взятки сто пятьдесят тысяч долларов.

Гришев вздернул брови.

— А взятка-то крупновата. Так что же им было нужно?

— Им нужен Хортон и его атомная бомба.

— Но в вашем распоряжении нет ни Хортона, ни атомной бомбы.

— Взятка эта представляла собой своеобразный задаток. Символ доверия. По их мнению, сто пятьдесят тысяч долларов создают атмосферу доверия независимости от обстоятельств. Затем они каким-то образом пришли к выводу, что я не собираюсь воспользоваться этими деньгами и, следовательно, вышел из доверия. Вот почему они пришли сюда, чтобы забрать деньги назад. У меня до сих пор не было возможности привести все в порядок. Для вас, конечно, это внешний признак загнивания капитализма. Но, не найдя денег, они решили замять о себе, убив Анну Гольдмарк.

Я поставил на стол два стакана апельсинового сока и принялся поджаривать тосты. Гришев не нуждался в особом приглашении и, выпив стакан до дна, заметил, что у нас очень хорош замороженный апельсиновый сок.

— Не думаю, — сказал я. — По-моему, это лишь бледная копия настоящего продукта.

— Вы можете позволить себе настоящий продукт, Клэнси. Ваша страна завалена настоящими апельсинами. Их тут больше, — горько добавил он, — чем во всех странах, вместе взятых.

— Бога ради, Гришев, — отреагировал я, — ни от меня, ни от вас не зависят резервы урожая апельсинов. Если вам от этого будет легче, то смею вас заверить, что, будь я апельсиновым магнатом, я бы заключил с вами сделку. Но дело в том, что мне лень выжимать сок из настоящих апельсинов.

— Типично по-американски. Так вы знаете, кто убийцы?

Я поставил на стол тосты, масло и кофе. Гришеву понравились мой кофе и мои тосты. Ел он от души.

— Думаю, что да.

Он окинул меня внимательным взглядом и затем спросил:

— Эти сведения совершенно секретны?

— Послушайте, Гришев, я понятия не имею, что совершенно секретно, а что нет. Я не работаю ни в разведке, ни в госдепартаменте, я второразрядный полицейский, делающий вид, что преподаю физику, и обо всем могу лишь догадываться. А догадки мои таковы, что шайка эта явилась с одного маленького грязного островка в Карибском море.

Именно в это мгновение, ровно без десяти восемь, раздался очередной телефонный звонок. Похоже, провидение выделило это утро для ранних телефонных звонков. Я снял трубку и узнал, что звонит Максимилиан Гомес. В этом я не сомневался. Я узнал голос, в высшей степени вежливый. Извинившись за столь ранний звонок, голос, принадлежавший Максимилиану Гомесу, уведомил меня, что из утренних газет узнал об убийстве Анны Гольдмарк. И звонил он мне как другу семьи. Чтобы узнать о месте и времени похорон.

По правде говоря, я ничем не мог ему помочь и обратил его внимание на тот факт, что он легче может узнать об этом из тех источников, что и я. Вежливо, как и прежде, он поблагодарил меня.

— То, что случилось, профессор Клэнси, ужасно, — заявил он.

У меня не было ни малейшего желания продолжать разговор, да и сказать было нечего. Я постарался побыстрее кончить, принес новую порцию тостов и спросил Гришева, слышал ли он что-нибудь о Максимилиане Гомесе.

— Ваш островок в Карибском море? — заметил он.

— Не исключено.

Гришев допил кофе, доел тост и уютно откинулся в кресле. Закурил и вдумчиво затянулся, а потом спросил:

— Что вы будете делать, Клэнси, когда выведете их на Хортон?

— А вы считаете, что я выведу их на Хортон?

Гришев кивнул.

— Когда?

Гришев пожал плечами.

— Сегодня, завтра, послезавтра. Я верю в вас, Клэнси.

— Не разделяю вашей уверенности.

— Ладно, вам виднее. Но вы почти у цели. Кстати, у меня возникла идея. Надо поговорить с вашей Филлис Гольдмарк.

Я отрицательно покачал головой, пошел на кухню и принес кофейник. Налил еще по чашке. Гришев не возражал: ему нравился и американский апельсиновый сок, и американский кофе.

— Нет, — возразил я, — из разговора с нею у вас ничего не получится, Гришев. По крайней мере, сегодня. Она столько испытала...

— Вот это самое, — подчеркнул Гришев, — как раз и пойдет нам на пользу. Вы смотрите на меня так, Клэнси. Знаю, что вы думаете. Ваши представления о русских в точности совпадают с нашими представлениями об американцах. Вы думаете, достаточно ли я бессердечен,

холоден и расчетлив, чтобы организовать убийство ее матери? Я прав? Скажите, я прав?

— Полицейский подозревает всех без исключения, — устало выговорил я.

— Бросьте, Клэнси. И успокойте душу. Не организовывал я убийства ее матери. А хотелось мне, чтобы до вас дошло, что шок такого рода способен изменить весь ход мыслей. И сам мыслительный процесс: Она может забыть то, что совершенно отчетливо помнила два дня назад; зато вспомнит такое, что казалось безнадежно забытым. Мне необходимо переговорить с нею. И вовсе не в ваше отсутствие. Мне просто надо переговорить с нею. Сможете организовать такой разговор?

— Могу, — ответил я. — Но не знаю, хочу ли.

— Подумайте, — произнес Гришев, вставая и надевая пальто и шляпу. — Подумайте, Клэнси. И если надумаете, то легко меня найдете. Я остановился в гостинице "Билтмор". И буду там весь день. Спасибо. Завтрак был превосходен. У вас прекрасный кофе и прекрасный апельсиновый сок.

— Прекрасные тосты, — сказал я.

— Прекрасные тосты, — согласился Гришев и позволил себе чуть-чуть улыбнуться. — Насчет вашего Максимилиана Гомеса. Посмотрю, что у нас есть на него существенное для данного дела. Но мне представляется, Клэнси, это не играет роли. Гомес и все прочие интересуются только одним: вашим выходом на Хортон. И от того, что мы разузнаем о Гомесе, суть дела не изменится. Изменить ситуацию может лишь сам Алекс Хортон. Согласны?

— Согласен.

И Гришев ушел. Когда я помыл посуду и оделся, было уже девять часов. Я позвонил на квартиру Филлис. Ответила ее тетка. Я сказал, что работаю в университете вместе с Филлис. Что я профессор Клэнси. Она, как выяснилось, слышала обо мне и сообщила, что Филлис чувствует себя нормально и что церемония состоится в пол-одиннадцатого в Загородном мемориальном центре. Я поблагодарил и сказал, что приеду.

Съездил за машиной и проехал на ней небольшое расстояние до Мемориального центра. Сам Центр представлял собой небольшое опрятное здание из желтого кирпича, стоявшее на улице, быстро превращавшейся в трущобную. Все прочие дома обветшали и едва держались на грани разрушения; только Мемориальный центр сверкал и сиял как символ респектабельности среднего класса. Краска без потеков, чистый тротуар. Перед центром стояли автокатафалк и один похоронный лимузин.

Я вошел внутрь, и торжественно-скорбный служащий в сюртуке и полосатых брюках осведомился, являюсь ли я членом семьи покойной. Я ответил, что я друг мисс Гольдмарк, на что он сказал, что могу либо пройти к семье в траурный салон, либо занять место в зале прощальных церемоний. Я предпочел пройти к семье, понимая, что будет неприятно, но в церемонии похорон не бывает приятно, а мне по возможности хотелось быть там же, где Филлис. Траурный салон оказался тускло

освещенной комнатой размером примерно двадцать на тридцать футов. На возвышении стоял гроб, а вокруг горели свечи, Филлис сидела на диванчике между теткой и Ритой Голден; из членов семьи присутствовал еще один человек — Джек Голден. Маленькая семья, такая же маленькая, как моя, трагически маленькая в большом траурном помещении. Там был еще один мужчина: высокий, худой; мне его представил Джек Голден. Это оказался раввин Фримен. В салоне была и сотрудница полиции, дежурившая в квартире Филлис. Она была в обычной одежде и тихо сидела в уголке. Чуть позже пришли две пожилые женщины, подруги покойной. Вот и все, кто собрался почтить память бессмысленно вырванной из жизни одинокой, стареющей женщины, погибшей беспричинно и бесцельно.

Когда я входил, Филлис меня не заметила. Заметил Джек Голден, подошел ко мне, пожал руку и, как я уже сказал, познакомил с раввином Фрименом.

В таких местах громко не разговаривают. Все перешептывались.

— Рад, что вы тут, Клэнси, — шепнул Голден. — Как хорошо, что вы пришли.

Раввин Фримен бросил на меня задумчивый взгляд и подал руку. И лишь после этого рукопожатия Филлис подняла голову. Я подошел к ней. Она сидела с сухими глазами, но, когда я обнял ее за плечи, расплакалась. Две родственницы оттащили ее на диванчик, злобно разглядывая меня, как бы спрашивая, по какому праву я полез с объятиями в подобной ситуации. Я прошел в другой конец комнаты к гробу и с облегчением заметил, что гроб закрыт. Тут на меня посмотрел раввин Фримен. Я подошел к нему, и он попросил меня выйти, чтобы поговорить.

Когда мы вышли в фойе, или вестибюль салона, служащий ругался с двумя репортерами и фотографом. Отвязавшись от него, работники прессы кинулись к нам и стали расспрашивать, кто мы такие. Раввин Фримен ответил. Фотограф сделал его снимок, причем свет вспышки показался мне зловещим в этом темном вестибюле. А репортер сказал:

— Послушайте, раввин, мы не хотели бы никому мешать, но нам нужен групповой семейный снимок. И хотелось бы поговорить с кем-нибудь из членов семьи.

— А что они могут вам сказать? — спросил их в свою очередь раввин. — Это маленькая семья. Их всего четверо. Бедная пожилая женщина стала жертвой грабителей — неужели это событие для прессы? Таких событий сотни. Зачем оно вам нужно?

— И все-таки событие.

— Оставьте их в покое, хотя бы ненадолго, — попросил раввин. И, взяв меня за руку, вошел в зал прощальных церемоний.

Зал был пуст. Помещение оказалось небольшим, человек на шестьдесят, задрапированное, освещенное столь же тускло, как траурный салон, с небольшим органом у входа.

— Завидно быть раввином, не так ли, Клэнси? — обратился ко мне Фримен. — Вчера вечером меня пригласили в незнакомую семью, чтобы похоронить женщину, с которой я никогда раньше не встречался. Ее оплакивает жалкая горстка людей. Не знаю, попадал ли я раньше

в подобную ситуацию. Не верится, чтобы люди в нашем мире были так одиноки.

— Одиноки в этом мире очень и очень многие. И поверить в это весьма легко.

— Может быть, да, может быть, нет. Дело в том, что вчера вечером я сидел и долго беседовал с девушкой. Что вы думаете об этой девушке, Клэнси?

— Станный вопрос.

— Я тоже так думаю. Станный вопрос для раввина. Девушка сказала о матери и о вас. Она полагает, что вам известно, почему убили ее мать. Убийство — вещь страшная. Оно стало предметом повседневного чтения в книгах и повседневного упоминания в газетах, и, если мы соответственно настроены, мы можем ежедневно видеть его по телевизору. Но я уже тридцать лет как раввин и поверьте, мистер Клэнси, я впервые провожаю в последний путь человека, ставшего жертвой убийства. Так вы знаете, почему убили эту женщину? — Он наблюдал за мной, а я устал от лжи. Я лгал слишком много, слишком о многом и поэтому кивнул и подтвердил, что знаю.

— Но сказать об этом, конечно, не можете.

— Не могу, — повторил я. — Извините, но не могу.

— Филлис сказала, что вы работаете вместе с нею в университете. Что вы профессор физики. Это правда, мистер Клэнси?

— Нет, — сказал я, — не совсем.

— Кто бы вы ни были, — пробормотал Фримен, — вряд ли ваши обязанности труднее и неблагодарнее, чем обязанности раввина. Вы, безусловно, никогда об этом не задумывались, мистер Клэнси. Полагаю, что у вас никогда не было оснований задумываться по этому поводу. А я с этим живу и пытаюсь понять, как это ни странно, многие ли осознают, кто они и почему совершают те или иные поступки. Смеею вас заверить, что в нашем распоряжении очень мало средств утешения, меньше, чем вы могли бы представить, и в итоге все сводится к попыткам успокоить человека, нуждающегося в вас. Думаю, что подобное может предложить священник любой религии, а я тоже своего рода священник. Эта девушка, эта женщина — Филлис — произвела на меня потрясающее впечатление. Передо мной, мистер Клэнси, прошли все виды душевных страданий. Я был на войне капелланом, но таких страданий, которые испытывала вчера вечером эта женщина, я никогда в этой жизни не видел. Вы знаете об этом?

— Нет, — медленно произнес я, — я не знаю об этом.

— Я хожу там, куда боятся ступить ангелы, мистер Клэнси. В этом заключается прерогатива моего призвания. Вам известно, что она вас любит?

— Да, — кивнул я. — Мне известно, что она меня любит.

— Мистер Клэнси, она на краю пропасти. Если она упадет с обрыва, мир рухнет. Все это меня не касается, но когда незнакомые люди зовут меня прочесть над мертвым молитву, я ощущаю всю тщету своих усилий. Ибо жизнь — это нечто иное. Вы согласны?

— Да, — выдавил я. — Жизнь — это нечто иное.

— Когда я начал разговор, я думал, что вы рассердитесь, мистер Клэнси.

— Я не сержусь, — сказал я. — Просто не вижу, какое это имеет отношение к нам с вами. Да, я знаком с Филлис Гольдмарк, но что из этого выйдет, решать только мне.

— Вы правы: решать только вам, — согласился раввин.

— Тогда что же вы хотели мне сказать? — попытался выяснить я.

— Вам когда-нибудь приходилось жить в атмосфере кошмара, мистер Клэнси?

— Приходилось.

— Значит, вам это знакомо. Не собираюсь вас убеждать или уговаривать, хочу, чтобы вы поняли: она живет в атмосфере кошмара. Позвольте мне пояснить: попав туда, куда боятся ступить ангелы, я сложил два и два, и у меня не получилось четырех. Это дает мне право задать вам вопрос, не вы ли создали этот кошмар.

Услышав это, я замолчал на некоторое время. Пришел органист, кивнул нам и сел за орган. Взял несколько нот, как бы настраивая инструмент. И стал играть один из погребальных опусов Баха. Раввин подошел к нему, что-то сказал, и музыка смолкла. Вернувшись ко мне, раввин объяснил, что среди евреев не существует единого мнения о желательности исполнения музыки на похоронах. А мне казалось, что со мной разговаривают издали. Я погрузился в раздумья, а думать было о чем.

— Я домысливал многое, — сказал раввин. — Боюсь, что мои домыслы перешли все границы.

— Мне так не кажется. Что же вы еще хотели мне сказать?

— Только спросить: вы сможете вывести ее из этого состояния?

— Подобно слепому, ведущему слепого?

— Видимо, так.

Тут мы вернулись в салон, и, когда я вошел, ко мне подошла Филлис и сказала:

— Я подумала, вы ушли.

Я отрицательно покачал головой, а она попросила меня:

— Не уходите от меня, Клэнси, не оставляйте меня.

Я глядел на нее в неверном свете свечей: быть может, более остро, чем предполагал. Широко открытые глаза были полны испуга, и я слегка поцеловал ее в щеку. Лицо бледное, утомленное, усталое. Но я понимал, что для меня она прекрасна и навсегда останется прекрасной, и я сказал ей, что никогда ее не покину, никогда.

Часть десятая

ПЛЯЖ

Кладбище находилось далеко, на Лонг-Айленде. За катафалком следовало всего три машины: наемный лимузин, где ехали Филлис с Теткой и раввин Фримен, "Бентли" Голденов и моя. Служащая полиции

не знала, стоит ли ей тоже ехать, но я решил, что это не обязательно, поскольку рядом с Филлис буду я, а если мне нужно будет куда-то поехать, то я предупрежу начальство.

День был тяжелый и хмурый, темные облака нависли на небе, и, когда мы подъехали к кладбищу, накрапывал частый дождичек. Могилы уже выкопали, и мы стояли вокруг, спасаясь от дождя под зонтами, любезно предоставленными кладбищенской администрацией, а в это время раввин Фримен произносил положенные слова. Гроб опустили и засыпали землей, все кончилось, и мы пошли к машинам. Голдены хотели, чтобы Филлис с теткой поехали к ним, но Филлис отказалась и сказала, что останется со мной. Рите Голден это не понравилось. Она даже заявила, что козь скоро она сумела найти возможность прибыть на похороны, отказ Филлис от приглашения является не только не-продуманным решением, но актом неблагодарности. Джек Голден посмотрел на часы. Обеденное время давно прошло, и он предложил всем нам поехать куда-нибудь поесть. Жалко было на него смотреть: он переживал, что столь ничтожное количество прибывших на кладбище лишало похороны той церемониальной значимости, которой, по его мнению, они должны обладать.

Филлис, однако, твердо стояла на своем. Она ни с кем не поедет. Поцеловала плачущую тетку и посадила ее в лимузин, возвращавшийся в Нью-Йорк с раввином Фрименом. Голдены стояли рядом, не зная, как себя вести и что делать дальше. Джек Голден повторил приглашение. Тут Рита Голден сказала, что ей пора ехать к парикмахеру, а муж бросил на нее горький взгляд, говорящий без слов, что ей лучше бы заткнуться и позабыть о парикмахере и прочих житейских проблемах. Не было произнесено ни слова, но Рита все поняла и села в "Бентли".

— Завтра вечером Гомес опять придет к нам на обед, — неуверенно произнес Джек Голден. — Может быть, приедете и развеетесь?

Филлис посмотрела на него пустыми глазами. Он опять попробовал пригласить ее. Обидно: день разбит и даже не поел вовремя. Реакция Филлис казалась ему лишенной смысла, и он вслух высказал, что думает. До сих пор я молчал, но тут вынужден был попросить оставить Филлис на мое попечение, тем более, она сама этого хотела.

— Ладно, Клэнси, — пожал он плечами, — врачуйте ее. Раз она сама хочет, пусть будет, как она хочет.

Оскорбленный в лучших чувствах, не говоря больше ни слова, он сел в "Бентли", Голдены уехали. А мы стояли на промокшем кладбище и смотрели вслед уезжающей машине. Мы слышали лишь звуки дождя и ветра, все замерло, за исключением четырех кладбищенских рабочих, махавших под дождем своими лопатами и ломами.

Взяв Филлис за руку, я повел ее к машине. Глаза у нее высохли, выражение лица отчужденное, отключенное, мысли обращены вовнутрь.

- Не хочу возвращаться в Нью-Йорк, Клэнси, — попросила Филлис.
- Поедем куда-нибудь.
- А куда?
- Куда угодно, только не назад в Нью-Йорк!

Я повернул на юг, и мы поехали к океану молча, под звуки мерно движущихся "дворников". На дороге почти не попадались машины, Лонг-Айленд был пустым и серым, как сер был день, и у меня появилось странное ощущение, будто мы едем из ниоткуда в никуда, и есть только процесс езды сквозь время без смысла и цели. Тут заговорила Филлис:

— Самое скверное, Клэнси, что всем на все наплевать.

— Да нет, Филлис, — сказал я. — Вам не наплевать, мне не наплевать. Да и Голденам по-своему не наплевать.

— Вы говорите так, Клэнси, потому что боитесь признаться, что смерть несет в себе безразличие, но вы неправы. Никому ни до чего нет дела. Я попыталась сосредоточиться, но у меня не получается. Мне страшно, но страх не есть сострадание. Всю жизнь я жила со страхом, но та ничтожная доля сострадания, которая у меня была, уже улетучилась. Это ужасно, Клэнси.

— Не согласен, — ответил я, — сострадание ничем не измерить. И не оно относится к числу добродетелей. Гордиться им нечего. Не этим чувством характеризуетесь вы, или ваша мама, или ваши взаимоотношения. Я знаю. Я стал чем-то вроде специалиста в области сострадания. Гордиться тут нечем. Если вдуматься, тут налицо форма острашения: оправдание отчуждения себя от мира, полного жизни, людей, надежды и красоты.

— А вы совершили такое отчуждение, Клэнси?

— Я — да!

После моих слов она немного помолчала, а затем произнесла:

— До того, что случилось, я пыталась привязать вас к себе, Клэнси. И поняла, что ничего не получится. Я не смогу привязать вас к себе. Я хочу, чтобы вы сейчас были со мной, но когда наконец вы отвезете меня домой, вы пойдете своей дорогой.

— А какая у меня дорога, Филлис?

— Вам виднее, Клэнси.

— Тогда не решайте за меня.

Она кивнула, не говоря ни слова. Мы ехали мимо жилых домов, а затем оказались в поле среди высоких сухих трав. Дождь прекратился, но небо оставалось свинцово-серым. Дорога шла параллельно длинному, пустому пляжу, огороженному бесконечным рядом маленьких, обветшалых купальных кабинок, пустых и заброшенных в это время года.

— Здесь можно остановиться? — спросила Филлис. — Хочу пройтись. Если не возражаете.

Я повернул на одну из дорожек и встал. Мы вышли из машины и прошли на пляж, где стали пробираться сквозь песок. Я взял Филлис за руку. Было холодно и сыро, но сильный восточный ветер нес приятную свежесть. Волны с шумом обрушивались на берег и разбивались на множество белых гребешков. Над водой кружило несколько чаек. На пляже до горизонта никого не было видно. В молчании мы прошли полмили и повернули назад. Я бросил взгляд на Филлис. Волосы развевались по ветру, лицо оживилось и покраснелось. Я резко остановился и обнял Филлис, а она сказала:



— Только если вы этого хотите, Клэнси, если не хотите, лучше не надо.

Я поцеловал ее и почувствовал на губах вкус соли: вокруг стоял запах соли и сырости. Сумасшедшая чайка скользила по волнам, затем сорвалась и приземлилась у наших ног. Обнимая Филлис за плечи, я повел ее к машине. Нам стало холодно, а в машине мы согрелись и укрылись от брызг. Усевшись, мы закурили.

— Знаете, о чем я думаю? — вдруг спросила Филлис. — Я думаю об одной старой, очень давней истории.

— А я думаю о вас, — сказал я. — Думаю о себе и о вас. Если сегодня мы сумеем сказать правду друг другу, у нас будет настоящее начало, потому что сегодня я впервые задумался о нас вдвоем. По-настоящему.

— Знаю и потому вспомнила эту старую, давно слышанную историю. Не знаю, сколько ей лет, не думаю, Клэнси, что кто-нибудь может дать точную справку, когда и кто ее сочинил. Это история о мужчине и женщине, которые любили друг друга. Любовь их считалась образцом и примером любви истинной, неподдельной. О такой любви пишут поэты. Думаю, что они за всю жизнь не сказали друг другу ни одного худого слова. Только слова любви, единственной и неповторимой.

— Это вымысел, — заметил я. — Такая любовь лишена смысла, она бывает только в сказке.

— Знаю, что это вымысел, Клэнси, но история говорит, что они любили друг друга именно так, а не иначе. И вот мужчина умер. Когда он умер, у женщины пропало желание жить. Дело в том, что она так любила его, что жизнь без него казалась ей невыносимой и она хотела только умереть. В те дни людей не хоронили в земле, как это делают сейчас. Тело положили в гробницу, и жена пошла туда, где был погребен муж. Она рассказала всем и каждому, что останется у тела мужа до самой смерти. Она отказалась от еды и питья и заявила, что умрет рядом с телом покойного. И она села рядом с гробницей, стелая и плача, и, поскольку всем было известно об этой великой любви, они все поняли, отнеслись к женщине с сочувствием, оставили ее в гробнице и ушли, затворив за собой дверь.

Филлис замолчала и посмотрела на меня. Спросила, хочу ли я дослушать историю до конца. Я ответил, что хочу.

— Так вот, Клэнси, рядом с гробницей находилось место казней. Там стояла виселица, где только что повесили вора. Прямо в день похорон. А у столба виселицы, опершись на копьё, стоял молодой воин. Он стерег тело казненного. В те времена тела грабителей сбрасывали в яму, и, думаю, власти следили за тем, чтобы родственники казненных не вздумали похитить тело с места казни и предать пристойному погребению. Вот почему воин всю ночь стоял на страже, следя за тем, чтобы никто не забрал тело. И вдруг он услышал какой-то звук. Это рыдала и стонала женщина, решившая заживо похоронить себя вместе с покойным мужем. Воин пошел на звук и, войдя в гробницу, обнаружил там красивую женщину, обрекшую себя на смерть.

— И когда воин увидел, как она юна и прекрасна, он ужаснулся, поняв, что она желает умереть у гроба мужа. Воин заговорил с ней. Он

утешал ее, Клэнси. Он осушил ей слезы и шептал слова о жизни и желании жить. Этот молодой воин, наверное, умел убеждать, так как они перешли от утешений к объятиям, а от объятий... и вот они уже лежат в склепе: бедная женщина в горе и воин, полный сил и здоровья, и вдруг первый луч света пробился в склеп. Воин встал, подошел к дверям гробницы, выглянул наружу и когда увидел то, что увидел, издал такой крик отчаяния, что женщина сорвалась с места и подбежала к нему, чтобы узнать, что произошло. Воин указал на виселицу. Там было пусто. Тело украли родственники вора. "Понимаешь, что это значит? — спросил он. — Меня поставили сторожить тело вора. Его похитили. Теперь моя жизнь проиграна, и меня повесят на той же виселице за то, что я не сумел исполнить свой долг".

Молодую женщину охватила паника: ей угрожало вечное расставание с тем, кого она полюбила, и она не могла перенести мысли, что юному воину угрожает смерть; и она уверила его, что смерти ему бояться нечего, что все будет в порядке, что она ему поможет.

Тут Филлис замолчала. Я подождал минуты две и, не дождавшись продолжения, спросил:

— Она ему помогла?

— Помогла, — сказала Филлис. — Видите ли, она вместе с воином вынесла из склепа тело мужа, и они водрузили его на виселицу.

Я задумался, потом вызвал машину задним ходом на дорогу и развернулся в сторону Нью-Йорка.

— У этих историй есть один недостаток, — сказал я, — в них одновременно рассказывается слишком много и слишком мало. Наша история намного проще и в то же время намного сложнее. И все же мы делаем то, что мы обязаны делать, а они делают то, что они обязаны делать. Самое худшее при любых обстоятельствах — решать, кто прав, кто виноват. На это я не способен. Я не судья, Филлис. Я полицейский. Самый обыкновенный полицейский. И в этом все дело.

Я не глядел на нее, а все время следил за дорогой, но я бы почувствовал, если бы она удивилась или рассердилась. Ничего подобного, однако, не последовало. После длительной паузы она сказала, что давно это знает.

— Как давно?

— С самого начала. Или почти с самого начала. А вчера, Клэнси, убедилась в этом наверняка. Когда вы меня обнимали. Я почувствовала оружие. Преподаватели не носят оружия.

— Оружие носят, когда боятся или слишком много о себе думают. Чересчур много.

— А вы знаете, Клэнси, кто убил мою маму?

— Думаю, что знаю.

— И почему ее убили?

Тут я рассказал ей все. Я рассказал ей все, с подробностями, пока мы ехали в Нью-Йорк, не упуская ни одной детали; когда я кончил, то спросил Филлис, верит ли она мне.

Тут она задумалась, но, подумав, сказала, что верит безоговорочно.

— Полагаю, что вы, Клэнси, всегда говорите правду или стремитесь

говорить правду, если не дали заранее слово, что будете лгать. Но сейчас, как мне кажется, вы говорите правду. И я рада, что вы мне все рассказали. Легче перестать любить, когда знаешь, что не любима.

— Этого я вам не говорил.

— А по-моему, именно это вы мне и сказали.

— Вы сказали, что на этот раз я говорю правду. Вы сказали, что вы мне верите. Неужели вы мне не поверите, если я скажу, что люблю вас, Филлис?

— Нет, — бесхитростно-устало ответила она.

— Начинается так, — с отчаянием произнес я, — а кончается иначе. Неужели непонятно, Филлис?

— Понятно, — сказала она. — Кончается всегда иначе.

Часть одиннадцатая

ОТЕЛЬ

Когда мы доехали до Манхэттена, я сказал Филлис о Гришеве. Сказать такое было непросто. На своем участке работы, как бы мал он ни был, я успел убедиться, что в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом нет ничего простого или логичного: лишь перспектива появления двух дымящихся дыр в тончайшем слое материи, зовущемся цивилизацией, одной на месте Москвы, другой на месте Нью-Йорка, привела к тому, что для меня само собой разумеющимся стал контакт с Дмитрием Гришевым; и теперь ему хотелось бы поговорить с Филлис. Я объяснил ей, в чем дело, а потом попытался дать понять, что если в чем-то Гришев будет очень похож на меня, то в чем-то он окажется абсолютно на меня не похож. Никому не удастся жить вне политики, но мне до сих пор удавалось прятать политику в самые глубины моей так называемой личности. Думаю, что я просто боюсь политики, что не так уж необычно в Соединенных Штатах.

— Но зачем ему нужно говорить со мной? — удивилась Филлис.

— Я ведь объяснял: любой из нас что-то знает, но не всегда знает, что он что-то знает.

— Я не знаю, где находится Алекс Хортон, — осторожно произнесла она.

— Раз не знаете, значит, не знаете. Вы ничем не обязаны мне, тем более Дмитрию Гришеву. Я сказал ему только одно: что передам его просьбу и если вы захотите приехать к нему, то я вас привезу. Но я ничего не обещал.

— А что он будет со мной делать? — отрешенно спросила Филлис. Никакой заинтересованности. Пустой, бесцветный голос.

— Разговаривать. Как разговариваю я, так будет разговаривать он.

— И копаться у меня в мозгу. Искать то, чего там нет. Да, Клэнси? Я сама занимаюсь самокопанием. Искала маму. И не нашла. Пыталась понять, почему ее нет, да так и не поняла, Клэнси. Копаться у меня в мозгу бесполезно. Он заперт на замок, серый и бесформенный. Я

пытаюсь расшевелить серое вещество, заставить его вспомнить о матери, вернуть те времена, когда она была счастлива. Беда в том, что я не знаю, когда она была счастлива. И была ли счастлива вообще, Клэнси. Как-то я повела ее в театр, но мне показалось, что до нее не доходит происходящее на сцене и что она не понимает сюжета. Она была, как запертая шкатулка, которую я никогда не могла открыть, и теперь, после всего, что произошло, я знаю, что мне так тяжело на душе именно оттого, что я никогда больше не подберу к этой шкатулке ключик. Никогда в жизни. А может быть, Клэнси, мы все такие: замкнутые наглухо и отъединенные друг от друга навеки?

— Ваша депрессия вполне естественна, — сказал я.

— Что думает мужчина, когда называет что-то естественным, Клэнси? Вы пробовали ставить себя на место женщины и понять ход ее мыслей?

— Пробовал.

— И у вас получалось, Клэнси? Я все время задаю себе вопрос, что вы думали, когда вам велели пойти в Никербокерский университет преподавать физику и поухаживать за невзрачным преподавателем по имени Филлис Гольдмарк. Чтобы спасти мир. И я задумалась, уж не почувствовали ли вы себя спасителем, Клэнси. И тем самым хотя бы отчасти избавили себя от усилий и раздумий. Если, конечно, эти бомбы существуют. Видите ли, я не уверена, что они существуют: дело в том, Клэнси, что образ мыслей мужчины можно легко возвести к ходу мыслей мальчика. Не так ли? Ведь все вы играете в "сыщиков и воров", в бомбы и угрозы, все вы: и вы сами, и начальник полиции Камедей, и фэбээровец, которого вы привели ко мне в дом, и бедный Алекс Хортон. Вы ведь лично не знали Хортона, Клэнси?

— Нет. Я никогда его не видел.

— Жалко, жалко, что ни вы, ни ваш мистер Камедей, ни мэр, ни прочие важные лица, о которых вы мне рассказали, ни разу не встречались лично с Алексом Хортоном, потому что, поймите, Алекс Хортон не мог сделать бомбу. Потому что его переполнял страх. Это и была связующая нить между нами, Клэнси, нить, соединявшая меня с Алексом Хортоном, — общность восприятия страха; когда мы выяснили, что каждый из нас по отдельности обладает этим ощущением, мы на какое-то время стали духовно близки. Близки не так, как я подумала, что мы с вами стали близки, Клэнси; близки по-другому. Близки не так, как могут быть близки мужчина и женщина. Он не был мужчиной в таком смысле, но нам обоим оказалось знакомо чувство страха. Мы оба прожили жизнь, где все время присутствовал страх: не опасность. Клэнси, нас подстерегал именно страх. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Похоже, да.

— Вот почему он не мог изготовить атомную бомбу, и я не слишком верю в эти атомные бомбы вообще. Не знаю, как насчет вашего московского профессора Симоновского, но если это человек по складу ума такой же, как Хортон, то он тоже не способен изготовить бомбу. Но если вам, Клэнси, предстоит удостовериться в моей правоте, во что

превратится ваша миссия, ваш героизм и готовность пожертвовать мною, Филлис Гольдмарк?

— Я никогда не считал и не говорил, что вами нужно пожертвовать, и вы это знаете.

— Разве, Клэнси, я что-нибудь знаю? Я почти ничего не знаю. Но думаю, что знаю больше вашего. Если человеческой любовью можно пренебречь, то что же тогда ценно? Если можно пренебречь человеческой надеждой на рай? Клэнси, когда я была маленькой, мы с мамой уехали на две недели в пансионат в Кэтскиллоских горах. Я выбрала себе гору и лазила на нее одна. Не думаю, что это была бог весть какая гора, но для меня это был великий подвиг: самой покорить гору. И когда я добралась до вершины, когда встала там и мир оказался у моих ног, я почувствовала себя на пороге рая. Поняли, Клэнси? Вот так я чувствовала себя, когда решила, что вы меня любите.

Сказать было нечего, и я ничего не сказал. Я ехал в центр, следя за светофорами, за потоком машин, за мокрой от дождя мостовой, и попытался сосредоточиться на своих мыслях и чувствах, на своих личных качествах, воплотившихся в работе, вдруг оказавшейся бесцельной и ненужной. Не так уж трудно быть героем, но стать развенчанным героем труднее всего на свете. Я мог позволить себе дерзить и нагло разговаривать с Камедеем, пренебрежительно высмеивать американского сенатора, беседовать на равных с мэром города Нью-Йорка. Я мог даже позволить себе беспечно разгуливать по городу, зная, что два кретина, Джеки и мистер Браун, ходят за мной по пятам с пистолетом, мог уговорить себя, что мне на них наплевать, и не обращать на них ни малейшего внимания. Я, человек по имени Томас Клэнси, храбрый, отчаянный и в то же время с подавленной психикой, мог, невзирая на депрессию и жалость к самому себе, построить в уме автопортрет, отвечающий всем позитивным стереотипам, лелеемым любым четырнадцатилетним американским мальчиком. Мне даже не было до конца понятно, как это Филлис сумела развенчать этот стереотип и свести меня с пьедестала, просто и акkuratно, без злости и без желания оскорбить или унижить. Но она сумела это сделать — с успехом. А теперь я еду в центр, в отель "Билтмор", где Дмитрий Гришев снимает "люкс", и там мы с ним попробуем извлечь из Филлис то, чего она не знает. И это будет нашим великим подвигом во имя спасения человечества от Петра Симоновского и Алекса Хортон. Просто все вдруг стало бессмысленной детской забавой, и я дошел до того, что счел Гришева столь же мелкой личностью, как и себя самого.

Пока я не поставил машину на стоянку, Филлис не проронила ни слова: но когда мы уже входили в отель, она тихо и с любопытством, как будто мы всю дорогу вели оживленную беседу, спросила, верую ли я в Бога.

— Разве можно спрашивать такое?

— А разве нельзя спрашивать о чем угодно того, кого любишь? А как, Клэнси, насчет вашего друга Дмитрия Гришева? Для него вера является чем-то антисоветским или просто пороком?

— А вы веруете в Бога, Филлис?

— При условии, что Бог — женщина, — ответила Филлис с улыбкой. Когда мы зашли в лифт, она взяла меня за руку: не ослабляя пожатия, она глядела на меня и улыбалась. Было так приятно видеть улыбку на ее лице. Когда она улыбалась, лицо ее преображалось, становилось необычным, неповторимым, прекрасным. — Клэнси, — продолжала она, — вы прекрасный человек. И очень храбрый. Я не хотела вас обидеть.

Я молча кивнул. В душе я сдался, для меня все было кончено. Я больше не ощущал себя полицейским — я больше не ощущал себя никем и ничем. Потребуется время, прежде чем я сумею порвать со своей профессией и уйти со службы. Мне еще предстояло довести до конца полученное задание, но это вопрос времени, а не самоотдачи. Перемены во мне шли необратимо.

Мы подошли к "люксу", где жил Гришев. Это он настоял на встрече в отеле. Ко мне в квартиру никого нельзя было привести, и, вдобавок, он полагал, что официальное здание на Парк-авеню, занимаемое советским представительством, вызовет к жизни множество побочных факторов, не способствующих решению проблемы. Гостиничный "люкс" — помещение безликое. Каждый из нас троих будет в нем на равных. Так, по крайней мере, полагал Гришев, и тут я с ним был полностью согласен.

Чем-чем, а нечуткостью Гришев не страдал. Он сразу же сделал верные выводы и оценки и в этом превзошел самого себя, стремясь быть любезным и мягким с Филлис, и, наблюдая за ним, я размышлял: как человек, получивший воспитание там, где он был воспитан, и такое, какое там считалось нормальным, смог вести себя столь внимательно и предупредительно, даже по-светски. Я даже решился когда-нибудь напрямую спросить его об этом: решил, что когда позволят время и место, мы сядем и обстоятельно поговорим.

Но сейчас надо было заниматься другими вещами, и я передал всю инициативу в руки Гришеву. Он заказал тарелку сэндвичей и кофейник с горячим кофе. Нам накрыли стол, мы придвинули к нему стулья, и он уговорил нас подкрепиться, прежде чем займемся серьезным обсуждением вопроса. Филлис почти не притронулась к еде, но я обнаружил, что проголодался и готов проглотить любое количество пищи, лишь бы набить желудок. Я был возбужден и устал и потому потерял последние остатки гордости, что было хуже всего. Я ел слишком много и слишком быстро. Гришев же, как и Филлис, почти не ел. Он рассказывал Филлис о своей жене. Мне он не рассказывал ничего ни о жене, ни о детях, и мне даже в голову не приходило, что у такого человека, как Гришев, могли быть столь естественные человеческие привязанности. Но это, по крайней мере, заставило меня задуматься, как бы я вел себя на месте Гришева, если бы очутился в Москве, оставив при данной ситуации жену и детей в Нью-Йорке. При обычных обстоятельствах я бы утешал себя предположением, что у русских не может быть чувств, сопоставимых с моими или эквивалентных моим, и боюсь, что до некоторой степени и сейчас пребывал в плену аналогичного стереотипа. Я встал из-за стола, а они сидели и разговаривали о Москве и Ленинграде, о

советской физике, о новом телескопе, который сооружался в Советском Союзе, я же подошел к окну и посмотрел вниз. Далеко-далеко поток машин устремлялся на юг и на север, бессмысленно пропадая на расстоянии. Что бы ни думала Филлис, Бог все-таки мужчина, и мне легко представить себя Богом, взирающим с высоты на копошащийся муравейник человеческого существования: и я пытался честно и непредвзято уяснить себе, трогает ли меня сколь-нибудь глубоко рок, нависший над этим городом, на деле или в воображении. Филлис взвалила на меня груз истины, а истина заключалась в том, что я на самом деле не понимал своих ощущений, опасений, надежд. Я бывал в боях, где бомбы падали на города и людские жилища; но так или иначе я не мог увязать память о войне, бомбежках и смерти, о массовой панике и массовой гибели людей с последствиями атомного взрыва, расплавляющего этот город, эти улицы, все и всех, кто на них находится, в жаркое, бесформенное безумие. Атомная бомба является абстракцией, и впервые при помощи этой абстракции человеческое существование оторвалось от всех структур реальности.

Я повернулся к Филлис и Гришеву. Они ушли из-за стола, Филлис сидела в кресле, сложив руки на коленях, откинув голову и закрыв глаза. Не знаю, как Гришеву удалось завоевать ее доверие, но она расслабилась. А он расположился на диване, что-то ей рассказывая.

— Продолжайте, продолжайте, потому что ценно любое ваше слово об Алексее Хортоне.

— Боясь, что не знаю о нем ничего ценного.

— Ценно все, что вы о нем знаете. К примеру, вы пошли с ним пообедать или поужинать. Что он любил есть?

— Он не любил жирной пищи, — вспомнила Филлис. — У него был не в порядке желудок. Ему казалось, что из-за облучения. Помню, как он заказывал в кафетериях крутые яйца на тостах. Это всегда приводило официанток за стойкой в недоумение. Дело не в сумме заказа, а в его необычности.

— Никакой жирной пищи? — улыбнулся Гришев. — Ни тушеного, ни жареного мяса?

Филлис покачала головой.

— Чаще всего он ограничивался чаем и тостом без масла.

— Не завидую, — вздохнул Гришев. — Не знаю, что хуже: есть все, что готовят в этой стране, или не есть ничего. А как вы думаете, Клэнси?

— Как-то я ел в русском ресторане, — сказал я. — Не в восторге?

— Все-то вы, американцы, знаете, — пожал плечами Гришев. — Все деградирует при капитализме, включая вкусовые бугорки на языке.

Ему удалось выжать из Филлис улыбку. Она открыла глаза, подалась вперед и стала внимательно разглядывать Гришева.

— А театр ему нравился? — спросил Гришев.

— Мы ходили пару раз. Думаю, к театру он был равнодушен. Он там скупал.

— Кино?

— Кино не нравилось: оно его пугало. Думаю, вы поймете, в чем дело. Я пробовала объяснить это мистеру Клэнси. Его переполнял

страх. Я пыталась дать понять мистеру Клэнси, что именно страх свед нас вместе. Странные у нас были отношения.

Она вопросительно поглядела на Гришева, а тот пожал плечами и заметил, что почти все отношения — странные.

— Вот перед вами я, — сказал он, — полицейский, своего рода советский фэбээровец, или работник секретной службы, или специалист по промыванию мозгов. — Он бросил взгляд на меня. — Ведь так вы обо мне думаете, Клэнси? Или не так? Я промыватель мозгов. А может быть, и хуже. И вот я женюсь на медсестре из больницы, на милой, нежной маленькой женщине, очень похожей на вас, мисс Гольдмарк, которая относится к работе полицейского с нескрываемым отвращением. И все же наш брак существует, даже несмотря на мои частые отлучки. А о чем он мечтал, мисс Гольдмарк?

— Не понимаю.

— Я о Хортоне. Все мы о чем-то мечтаем. Я мечтаю о красивой даче в Подмосковье. Клэнси — не знаю. Может быть, Клэнси хочет стать начальником полиции, как мистер Камедей. Вы, мисс Гольдмарк, — не берусь даже предположить, о чем вы мечтаете, но о чем мог мечтать Алекс Хортон? Что ему было нужно?

Прежде чем дать ответ, Филлис задумалась. А Гришев встал и налил себе еще кофе. Пил он кофе с сахаром. В чашку насыпал целых четыре ложки песка и не удержался, чтобы не заметить, что в Америку стекаются лучшие сорта кофе в мире.

— Но в России все равно будет расти лучший кофе, чем в Бразилии, — заверил я его.

— Со временем, мистер Клэнси, со временем. — Он допил кофе, не отрывая взгляда от Филлис, которая все молчала.

— Гитлер, к примеру, — продолжал Гришев, — мечтал править миром. С другой же стороны, вот в вашей стране был президент. Теперь он отошел от дел и мечтает только об одном: поиграть в гольф.

— А о чем мечтает Хрущев? — едко спросил я.

— Полегче, мистер Клэнси. Не позволю загнать себя в ловушку — последствия могут оказаться для меня роковыми. В то же время, рискуя, что мои высказывания будут преданы гласности, скажу, что моя шестилетняя дочка мечтает об одном: чтобы я привез ей из Америки очень большую, красивую куклу с моющимися волосами и закрывающимися глазами. Она считает, что у нас в России куклы намного хуже, но ведь ей всего шесть лет. Это, конечно, глупости, мисс Гольдмарк. Но факт остается фактом: у каждого свои мечты. Этим мы отличаемся друг от друга. Если мы на кого-то злимся, то говорим, что он беспринципный. Если мы его уважаем, то говорим, что он умеет добиваться поставленной цели. Но даже святой не может ничего не желать. Святой страшно заинтересован в достижении святости. Согласны, Клэнси?

— Чего не знаю, того не знаю.

— Ну, а Хортон, о чем мечтал он, мисс Гольдмарк? Какой цели хотел достигнуть? Что ему было нужно: добиться богатства, власти, известности, пусть даже сомнительной? Получить гигантскую лабораторию, где бы он смог вести загадочные изыскания? Или ему были нужны

женщины? О чем он мечтал, мисс Гольдмарк? Попробуйте сосредоточиться.

Филлис как-то странно поглядела на нас и вновь отрицательно покачала головой.

— Он не мечтал ни о чем, — сказала она. — И ничего не хотел.

Гришев поставил чашку на стол и стал мерить шагами комнату.

— Так не бывает, не бывает, и все, — произнес он.

— Он ничего не хотел, — повторила она.

А я заметил:

— Так бывает, Гришев. У него душа болела. У вас в стране не поверят, что у человека может болеть и умирать душа. Ведь это значит, что душа есть. Но Филлис дала вам правильный ответ. Хортон не хотел ничего.

— Но ведь это бессмыслица, — пробормотал Гришев.

— В этом заключено больше смысла, чем вы думаете, — возразил я. — Он не хотел ничего. Странное желание, но пренебрегать им нельзя.

И мы продолжили разговор. Прошел час, затем еще полтора. Мы были напряжены и измочалены, а Филлис, как мне показалось, готова была разреветься. На месте Гришева я бы остановился. Но он не остановился. Он задавал ей пробные вопросы, выуживал из нее ответы, выявляя разные мелочи из жизни и поведения Алекса Хортон. Я и не подозревал, что таким образом можно составить портрет человека. Перед нами постепенно вставал Алекс Хортон: похоже, Гришев, подобно бесталанному, но усердному и упорному скульптору, превращал бесформенную глину в нечто оформленное. Здесь, в комнате, у нас перед глазами возникали эмоции, привычки, высказывания, одежда, запахи, причуды... Наконец Гришев спросил, как Хортон понимал счастье. И опять Филлис отрицательно покачала головой, и опять Гришев преодолевал ее сопротивление, утверждая, что у Хортон должны были быть мгновения счастья. Гришев настаивал:

— Мисс Гольдмарк, прошу, думайте: знаю, что сегодня для вас трудный день, знаю, что сегодня для вас ужасный день. Ну, еще немножко. Мы скоро кончим. Но, прошу, подумайте: у него все же случались счастливые минуты. В жизни каждого человека обязательно бывает миг счастья.

— Даже в вашей стране, Гришев? — вставил я.

— Даже в моей стране, Клэнси. Это характеризует людей и отличает их от животных. Животное может быть довольно или недовольно; животное никогда не бывает счастливо. Все мы ведем несчастливую жизнь, но несчастливой мы ее считаем в сопоставлении с каким-то мигом просветления. Мигом радости.

— Не вижу, что это даст, — сказала Филлис. — Я пыталась вам помочь, но не вижу, к чему это приведет. Какая разница? Что из этого получится? Алекс Хортон был грустным человеком, грусть переполняла его. Понимаю, чего вы хотите, но как нам определить это? Как мне вспомнить, когда он был счастлив?

Я подсел к ней на подлокотник кресла и прикоснулся к ее волосам,

тут она посмотрела на меня и улыбнулась. Ей стало лучше. Гришев подошел к окну и поглядел вниз. А я шепнул Филлис:

— Ревную к Хортону. Это правда, Филлис.

— Нет, нет, Клэнси. Поверьте мне, только один раз за все время я почувствовала, что близка ему, что между нами что-то есть. Мы гуляли по городу и подошли к тому месту рядом с парком, где на большом пространстве ведется снос старых домов, и это место похоже на разбомбленный район, ставший городской пустыней. Вы ведь знаете это место, Клэнси?

Я знал.

— Как-то вечером мы проходили там, и мне вдруг показалось, что Хортон ожил, что вид этих развалин подействовал на него как бы наоборот, что он пробудился к жизни: он сказал мне что-то, и я ощутила душевную теплоту, близость к нему — только в тот раз, Клэнси...

Гришев подпрыгнул у окна и рванулся к нам, склонился над Филлис и выпалил:

— Он пробудился к жизни и был счастлив, правильно? Вы забрели в квартал развалин, и он ожил и был счастлив. Я не ошибся?

— Похоже, это было так, — неуверенно и тихо произнесла она.

— Но почему там? Почему именно там? — спрашивал Гришев.

— Не знаю, — сказала Филлис.

— Думайте! Думайте! — настойчиво просил Гришев. — Ничего больше! Только думайте!

Эта просьба оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения Филлис. Лицо ее исказилось в гримасе, по щекам потекли слезы. Я сказал Гришеву:

— Довольно. По-моему, хватит. Ради Бога, Гришев, оставьте ее в покое. Оставьте ее в покое.

Я дал ей выплакаться. Напряжение накапливалось весь день, и она плакала легко и не обращая ни на что внимания, как маленькая. Потом я дал ей платок, и она вытерла глаза, после чего сказала, что с ней все в порядке.

Часть двенадцатая

НЕЖИЛОЙ ДОМ

Мы вышли из гостиницы, сели в мою машину и поехали из центра. Мы все втроем устроились на переднем сиденье: мы все втроем сидели тихо, напряженно и немного торжественно. Дождь перестал, и резкий мартовский ветер разрывал серое небо на лоскутки облаков. День приближался к закату.

— Хорошо, что дождь кончился, — сказала Филлис.

Я понял, что она имела в виду.

— Мне нравится мартовская погода. Она меняется по несколько раз на дню: то дождь, то снег, то жаркое солнце, а то опять идет дождь. И все в течение одного дня.

— Как мы сами?

Я пожал плечами и спросил Гришева, каким бывает март в России, а тот кисло ответил, что март есть март. Мы еще немного поговорили о погоде, но, пока не доехали до университета, больше ни о чем не говорили. Затем условились, где встретимся через пятнадцать минут. Филлис побежала привести себя в порядок. Я потащил Гришева в дыру, сгруппировав мне рабочим кабинетом.

Пока мы шли по коридорам старого здания, Гришев с любопытством смотрел по сторонам и рассуждал на тему, может ли полицейский преподавать физику. Я заметил, что мы всегда стремимся все упрощать, после чего Гришев бросил на меня пронизательный взгляд и произнес:

— Вы знаете, временами вы мне просто нравитесь, Клэнси.

— У меня тоже иногда появляется такое же чувство по отношению к вам, — признался я.

Ванпельта мы встретили в холле. Он выходил из своего кабинета и, как мне показалось, с радостью бы избежал встречи со мной. Однако мы шли навстречу друг другу, и он вызывающе проследовал мимо. Мне было все равно. Филлис нанесла столь сокрушительный удар прежней моей гордости, что на выходку Ванпельта я уже не реагировал.

Я просмотрел адресованные мне записки и среди них нашел просьбу позвонить Камедею. Я набрал коммутатор Сентер-стрит и попросил соединить меня с ним, и когда он взял трубку, то с характерным для него резким раздражением спросил:

— Где вас черти носят? И куда делась Филлис Гольдмарк? Мне это не нравится. Вы несетесь, куда вас тащит левая нога, а нас как будто и на свете нет.

— Вы-то есть, — сказал я.

— И на том спасибо, — съязвил Камедей. — Польщен и очарован. А где мисс Гольдмарк?

— Со мной.

— Клэнси, ее ни на секунду нельзя оставлять без прикрытия. И еще я хочу придать вам человека для охраны. Ясно? Где мы встретимся?

— Не знаю, — сказал я. — Дайте подумать. Я бы не хотел брать ее к себе домой, но пока не знаю, где ей лучше провести сегодня вечер. Я вам перезвоню.

— Когда?

— Примерно через час, — сказал я. — Не позже, чем через час.

Гришев глядел на меня с удивлением, когда я клал трубку. Он проверял пистолет: компактное, но мощное автоматическое оружие неизвестной мне модели. Защелкивая обойму, он спросил:

— Это вы с начальником так разговаривали?

— Уберите эту штуку. А если кто-нибудь войдет? Что у вас в голове, Гришев? Зачем вам это нужно?

Он пожал плечами и покачал головой.

— Если бы я был в Москве, — спросил я, — мне бы разрешили разгуливать с оружием?

Гришев засунул пистолет в карман пиджака и с раздражением ответил:

— Иногда, Клэнси, мне от вас муторно.

— Сейчас не время действовать друг другу на нервы. А если это и так, то говорить об этом вслух.

Гришев согласился и надел шляпу и пальто. Я перекинул через плечо старый плащ. Мы вышли из здания и прошли пешком до Амстердам-авеню, постояли на углу и даже успели выкурить по сигарете, пока к нам подошла Филлис. Гришеву удалось скрыть раздражение, и он расплылся в улыбке. Держась за руки, мы пошли от центра на восток. Филлис сказала:

— Вы мне оба нравитесь, но у меня странное ощущение. Мне грустно, мне хочется и плакать, и смеяться. Куда мы идем? Что вы собираетесь отыскать?

— Не что, а кого. Хортона! — глупо выпалил я.

Гришев пожал плечами и добавил:

— Что бы мы ни нашли, мисс Гольдмарк, это все равно отвлечет вас от всех ваших прошлых и сегодняшних бед. Так будем делать вид, что мы оба просто прогуливаемся в сумерках с прекрасной молодой дамой.

В душе я поблагодарил Гришеву за эти слова. Филлис сжала мне руку, и мы пошли дальше. Пройдя Сто десятую улицу, мы повернули на Коламбус-авеню в восточном направлении, прошли на юг и, наконец, увидели то, что хотели: джунгли новостроек, развалины сносимых домов, полуразрушенные останки еще не снесенных зданий, металлоконструкции, кварталы битого щебня, в общем, гигантский микрорайон, потрясающий любое воображение: город в городе, сносимый и отстраиваемый заново.

Я поглядел на Гришеву, и он тоже настроился на открывшееся перед нами зрелище. Глаза его странно блестели, а взгляд блуждал по разбитым домам и новым сооружениям. Он спросил Филлис:

— Это тут вы гуляли с Хортоном?

— Через дорогу.

— Тогда проводите нас туда, — попросил он.

Мы перешли улицу. Филлис еще сильнее прижалась ко мне. Мы опять пошли в южном направлении, а потом свернули в боковую улочку. Здесь, среди мусора полуразрушенных зданий, стояли три старых жилых дома, заброшенные и нетронутые.

— Как и у многих моих соотечественников, — сказал Гришев, — мое первое ощущение от Америки — черная зависть. Боже, как вы умеете строить! Вы сносите город до основания и отстраиваете его заново. Когда у нас война разрушала города, это было трагедией. Но вы уничтожаете мило за милей городских построек, каких только война могла бы уничтожить, и, уничтожая, тут же отстраиваете заново.

— Я все время удивляюсь, — спросил я, — что вы имеете в виду, Гришев, когда говорите "Боже"? Или это просто оборот речи?

— Я выучил ваш язык, Клэнси. В нем Бог присутствует на каждом шагу. Таким вы его сделали.

— Что вы все время кидаетесь друг на друга? — спросила Филлис. — Неужели вас обоих довели до того, что вы все время должны воевать?

Меньше всего я ожидал услышать от нее нечто подобное. Мы остановились. Гришев и я одновременно посмотрели на нее, а потом друг на друга. Потом я опять посмотрел на Филлис и понял, что такой я вижу ее впервые, что знакомлюсь с нею заново. Меня как будто заново представляли ей. Взгляд ее встретился с моим, она как будто говорила: "Ваша работа выполнена, Клэнси. Теперь можете смотреть на меня: никаких служебных заданий, никаких обязанностей".

— То, что вы рассказывали о Хбртоне, — осведомился Гришев, — произошло здесь, мисс Гольдмарк?

Филлис согласно кивнула.

— Именно здесь.

Голос его изменился, стал спокойным и усталым. Он спросил меня:

— Что вы думаете по этому поводу, Клэнси?

— Идея с дальним прицелом, но почему бы и не рискнуть?

— Как вы полагаете, не стоит ли мисс Гольдмарк оставить нас одних?

Я опять посмотрел на Филлис и отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал я, — пусть она лучше побудет с нами, если...

— Никаких "если", я с вами, — ответила Филлис.

— Тогда начнем со среднего здания, — предложил я, показав на три дома, торчащих по ту сторону улицы. — Электричество, наверное, отключили. Фонарика у вас, Гришев, не найдется?

Фонарика у Гришева не нашлось, и я высказался на тему, что как полицейские мы оба гроша ломаного не стоим. Потом мы перешли улицу. Перед парадным Филлис сжала мне руку и прошептала:

— Спасибо, Клэнси.

Гришев опередил нас на несколько шагов. Он наклонился, пробуя парадную дверь.

— За что "спасибо", Филлис? — хотел узнать я. — Скажите, за что?

— За весь этот день, Клэнси. Без вас я не прожила бы сегодняшней день. И неважно, как это началось, мне все равно, как это началось, я очень вас люблю.

— Я люблю вас, — сказал я. — Мне надо было бы сначала уйти из полиции и перестать быть полицейским, прежде чем произнести эти слова. Иначе они бессмысленны. Но я принял твердое решение. Если бы даже в нашем распоряжении было больше времени, если бы у нас была в запасе вечность, я все равно не нашел бы лучших слов, чтобы объяснить вам это, Филлис.

— А мне и так все ясно, Клэнси.

— Я люблю вас. Вы мне верите?

— Верю.

Тут мы поднялись по лестнице и догнали Гришева, который объяснил нам, что парадная дверь была заперта. Мы перешли на шепот. Не знаю почему. Шел шестой час, рабочие покинули это поле разрушения и созидания. Кроме нас троих, никого не было видно; и все же мы переговаривались шепотом, раздавленные собственными умозаключениями, забыв на время, что сами эти умозаключения в какой-то мере взяты с потолка. Все отошло на второй план. Мы избрали путь, образ действий, нам предстояло дойти до конца.

Верхняя часть парадной двери была стеклянной. Я вынул револьвер, выбил им одну из филенок, просунул руку и открыл дверь изнутри. Мы вошли и оказались в многоквартирном доме, построенном по старому образцу, в доме, где квартиры располагались в одном коридоре, как железнодорожные купе. Во времена моего детства и юности эти дома так и звались "вагонными". Другого имени у них не было. Я рассказал об этом Гришеву, прошептал, что квартиры в этих домах располагаются в линию во весь этаж — от фасада в сторону двора — цепочкой маленьких комнатшек, темных и замусоренных.

— Значит, — заметил Гришев, — в средних комнатах нет окон.

— Есть, — поправил я, — потому что в середине дома двор-колодец. Если память мне не изменяет, темная комната в квартире только одна, а все комнаты, выходящие на фасад, обязательно имеют окна. Но чем черт не шутит, а вдруг некоторые из окон фальшивые? Мы классические дураки, Гришев. Не взять с собой фонарики!

— Дураки-то дураки, но мы уже здесь!

Я кивнул в знак согласия и прошел вперед, в темный вестибюль. Пахло сырой штукатуркой, запустением и заброшенностью, а также вечными запахами нищеты, застоявшимися запахами дома, не проветривавшегося в течение полувека.

— Вы начните с квартиры слева, — сказал я Гришеву, — а я пойду направо. — Филлис я попросил не отставать от меня. — Не отходите, — шепнул я, — чтобы я всегда мог достать вас рукой.

Я взялся за ручку двери, и она тут же поддалась. Темная квартира на первом этаже. Я споткнулся о какую-то старую мебель. В темноте шуршали крысы. Филлис вцепилась мне в руку и шепнула прямо в ухо:

— Все в порядке, Клэнси. У меня все в порядке.

В дальнем углу квартиры из окошечка вентиляционной шахты пробивался серый свет. Свет проходил и из незаставленных окон, выходящих во двор. В дальних комнатах ничего не было, кроме обломков мебели, грязи и брошенных дорожек. В холле меня ожидал Гришев — бесформенная фигура в полумраке.

— Пусто, — сказал я.

— И у меня пусто, Клэнси, — сказал он.

Мы прошли этажом выше и опять по очереди осмотрели квартиры. И когда вновь встретились на лестничной площадке, в полнейшей темноте, Филлис прошептала:

— Бессмысленно, Клэнси. Уже вечер, на улице темно. Без света ничего не получится.

Мы поднялись на третий этаж чуть ли не на ощупь, продвигаясь шаг за шагом. И опять Гришев пошел налево, а я направо. Но на этот раз дверь моей квартиры была закрыта. Я подергал ручку и попытался открыть, но дверь не поддавалась.

— Попробуем с черного хода, — шепнул я Филлис. Взяв ее за руку, я пошел с нею в обход, вышел на черную лестницу и дернул дверь. Она тоже оказалась заперта. Держась за стенку, мы вернулись назад и стали ждать Гришева. Через некоторое время я услышал осторожные шаги: он приближался к нам сквозь темноту.

— Это ты, Гришев? — негромко спросил я.

— Там пусто.

— А эта квартира заперта.

— Какие тут замки, Клэнси?

— Трудно сказать. Этим домам лет шестьдесят — семьдесят. Замки часто меняли.

— Дайте-ка проверю, — предложил Гришев. Я помог ему нащупать дверь и услышал легкое шуршание: Гришев ощупывал пальцами замок. В холле было очень тихо. Мы слышали только скрип, треск и звук ломающегося дерева, естественные для старого дома. Бегали крысы. Мне было слышно громкое, тяжелое дыхание Филлис. Гришев прошептал:

— По-моему, я смогу открыть этот замок. Хотя бы попробую.

Я услышал звон ключей, вынутых Гришевым из кармана.

— Отмычки и все такое прочее? Вы знаете свое дело туго, Гришев!

Ответом был успокоивший меня смех. Мы тесно прижались друг к другу. Звук подбираемых ключей казался очень громким, а Гришев так долго возился с замком, что смог бы поднять на ноги любого в этом старом, вонючем, разваливающемся доме.

— Готово! — прошептал он, нажал на ручку двери, и дверь поддавалась. Я шагнул в черноту и зажег спичку. Первую за весь этот вечер. Свет ее показался ослепительным. В комнате никого не оказалось, если не считать прошмыгнувшей мимо нас в дверь крысы. Спичка догорела. Тогда я зажег вторую и прошел в первую из комнат. Дверь в нее была закрыта. Когда я отворил ее, в нос ударил новый запах. Дом был полон холодных, мертвых запахов, но этот запах был живым, хотя и отдавал разложением.

Филлис, должно быть, тоже его почувствовала, потому что прижалась ко мне еще плотнее. Я вынул оружие из плечевой кобуры. Теперь спичку зажег Гришев. Его спички были ярче: длинные, толстые — "охотничьи". В углу комнаты сложена стопка книг. Их обглодали крысы. Гришев указал на них. Филлис подошла поближе и взяла наугад одну. Я зажег еще спичку. Книга оказалась романом Толстого "Война и мир": грязная, сырая, частью съеденная крысами. Филлис раскрыла ее, и на внутренней стороне обложки при свете спички мы прочли: "Алекс Хортон". Мы трое поглядели друг на друга, не проронив ни звука, пока спички не обожгли нам пальцы и мы их задули, погрузив комнату в темноту.

Я прошел в соседнюю комнату, освещенную неровным светом заката, пробивавшимся через вентиляционное окошко. Кухня. Спички были не нужны. На полу валялись обрывки бумаги, в которую когда-то был завернут хлеб. Хлеб съели крысы. В одном из шкафчиков нашлись две банки фасоли. И две алюминиевых кастрюли: на дне одной — остатки фасоли, в другой — следы консервированного супа. Почему-то сюда крысы не добрались. А за дверьми шкафчика мы нашли четыре пакета соленых крекеров. На плите стояла большая кастрюля с водой. Еще в шкафчике стояли жестянки с фруктовыми соками и бутылки с имбирным пивом.

Мы прошли дальше. Здесь света тоже было достаточно, так что можно было разглядеть. То, что мы обнаружили там Хортона, нас не удивило: на данном этапе поисков удивительным было бы его отсутствие. Он лежал в углу, спиной к стене, укрытый грязным, рваным пледом. Глаза были закрыты, на щеке царапины — как мы потом узнали, след укуса крысы. Но атомной бомбы в комнате не было, не было и сочлененных ружей, механических приспособлений, плашек урана-235 — ничего, только грязь, сор, беспорядок. И сам Алекс Хортон в жалком виде, в углу под драным одеялом.

Часть тринадцатая

АЛЕКС ХОРТОН

Из всех событий, случившихся в темном, развалившемся многоквартирном доме, наиболее примечательным было не обнаружение Алекса Хортона, не то, что произошло с Филлис. Даже не знаю, как это назвать: процесс повзросления, насыщения, принятия решений, хладнокровного восприятия жизни, как она есть. Не исключено также, что происшедшее стало кульминацией многолетних раздумий. Вначале накопление фактов, потом их осмысление, а затем — взрыв, прорыв. Да и во мне происходили перемены. Боюсь утверждать, но предполагаю, что произошли они не благодаря самоанализу, а благодаря тому, что у меня на глазах происходило с Филлис.

И теперь, когда мы с Гришевым буквально прилипли к месту, Филлис спокойно и уверенно подошла к Хортону. Встала на колени и приподняла ему голову. Он был грязен и истощен, лицо заросло щетиной и покрылось пятнами засохшей крови. От него исходил запах болезни и разлагающейся плоти, но это не остановило Филлис.

Через плечо она бросила:

— Найдите и дайте ему чего-нибудь попить!

Гришев тут же отправился на кухню. Я зажег спички. Свет с улицы становился все слабей, но на недоступном для крыс высоком карнизе стояли огарки свечей. Я зажег вторую, и, поскольку комната оказалась очень маленькой, этого света было достаточно.

Гришев вернулся с банкой фруктового сока, уже открытой, и стаканом, который он насухо вытер носовым платком, налил немного соку и подал стакан Филлис, а она аккуратно и нежно напоила Хортона. Мне хотелось подойти и помочь переменить Хортона в сидячее положение, но как только Гришев понял мое намерение, жестом остановил меня. Глаза Хортона были открыты, но пустые, взгляд стеклянный. Ему очень хотелось пить. Бог знает, сколько времени просидел он без еды и питья, и хотя он пил очень маленькими глотками, в том, как он допил стакан до дна, ощущалась огромная жажда. Гришев налил еще...

Приподняв Хортону голову, Филлис сказала нежно и проникновенно:

— Алекс, все в порядке. Это я, Филлис Гольдмарк. Все хорошо, Алекс, все теперь будет хорошо.

Хортон сосредоточил взгляд на Филлис и некоторое время смотрел, не отрываясь, на ее лицо при мерцавшем свете свечей.

— Я Филлис Гольдмарк, — медленно повторила она, — ваш добрый друг, Алекс. Вы не помните меня?

— Да, я вас помню, — вдруг неожиданно отчетливо произнес он.

— Теперь с вами все будет в порядке. Со мной друзья. Это хорошие друзья — мои и ваши, Алекс. Понимаете?

— Понимаю. — Голос его был полон покорности и согласия, как у малого ребенка.

— Как вы себя чувствуете?

— Очень плохо, Филлис. Думаю, что умираю.

Филлис вернула стакан Гришеву и потрогала лоб Хортон. Я вопросительно поглядел на нее, а она жестом дала мне понять, что у Хортон очень высокая температура.

— Нет, Алекс, вы не умираете. Вы выздоровеете. Мы отвезем вас в больницу, где о вас позаботятся и вылечат.

— Не вылечат. Я ведь умираю. Умираю уже много дней. Меня едят крысы. Я чувствую, как они едят мое лицо.

Я беззвучно сформулировал вопрос для Филлис: "Спросите его. Прямо сейчас". Филлис покачала головой. "Спросите, — беззвучно шепелил я губами. — Так надо. Спросите не откладывая".

Филлис вздохнула и кивнула в знак согласия. Хортон не отводил от нее затуманенных, налившихся кровью глаз.

— Алекс, — произнесла она вслух, — вы должны нам сказать: где бомба?

— Бомба? — прошептал он.

— Атомная бомба, Алекс. Та бомба, которую вы сделали. Здесь, в Нью-Йорке. А профессор Симоновский сделал такую же в Москве. Не помните? Понимаете?

Он слабо покачал головой.

— Помните, кто такой профессор Симоновский? — Голос Филлис был мягок, лишен нажима и тревоги и не содержал в себе ни следа угрозы.

— Я помню Симоновского, — слабым голосом ответил он.

— Помните написанные вами письма? Вы писали, что собираетесь сделать бомбу. Помните письма, Алекс?

— Помню письма. — Губы Хортон дрожали то ли от подобия улыбки, то ли от истерии — судить было трудно. Он вновь произнес:

— Помню, Филлис. Только бомбы нет.

— Вы же писали, что собираетесь сделать бомбу, — настоятельно спрашивала она. — Симоновский писал, что он тоже собирается сделать бомбу.

— Да, мы договорились, — прошептал Хортон, — но никогда не собирались делать бомбы. Нам и не надо было их делать. Нам достаточно было исчезнуть. Важна была угроза, а не бомба.

— Но ведь была обнаружена пропажа урана.

Он помолчал. Закрыв глаза и лег, не говоря ни слова. Ни я, ни Гришев не сдвинулись с места и не проронили ни звука. Филлис наклонилась

над Хортоном, приподняла ему голову и, придерживая ее руками, спокойно ждала, а потом положила голову Алекса к себе на колени, будто он — младенец, а она — мать. Тут Хортон открыл глаза и спросил:

— Обнаружена пропажа урана?

— И здесь, — сказала Филлис, — и в России.

Тут Хортон улыбнулся по-настоящему. Единственный раз на моей памяти.

— На это мы и рассчитывали, — сказал он. — При их системе материального учета так и должно быть. У них никогда не сходятся концы с концами. Стоит сказать, что обнаружена пропажа, и пропажа обязательно обнаружится. Но бомбы не существует, Филлис. И никогда не существовало: ни здесь, ни в Москве.

Она стала его уговаривать, упрощать, как мать утешает ребенка.

— Алекс, скажи мне правду. Прошу, скажи мне правду — только правду. Самое главное на сегодняшний день — где бомба?

— Нет никакой бомбы. Я все время находился здесь, Филлис, здесь, в этой квартире, днем и ночью. И ни разу из нее не выходил. Как я мог сделать бомбу? Куда я мог ее деть? Я ни разу не выходил из этой квартиры и не выйду из нее никогда. Я умираю, Филлис. Разве вы не видите, что я умираю? Я съеден снаружи и изнутри. Но я рад, что вы здесь.

Филлис кивнула. Выражение лица ее не изменилось, но даже при тусклом свете свечей я мог разглядеть льющиеся из глаз и катящиеся по щекам слезы.

— Мне не хотелось умирать в одиночестве.

— Не торопитесь умирать, Алекс.

Глаза его опять закрылись, и, осторожно потрогав его лоб, Филлис поднялась и подошла к нам.

— Боюсь, что он очень болен, — тихо сказала она, — у него сильный жар.

— Его надо забрать отсюда и отвезти в больницу. Это сейчас для нас самое главное, — произнес я. — Доставить его в больницу. Мы не знаем, в каком он состоянии, способен ли выжить, или может умереть.

— Вы ему верите? — странным голосом спросил Гришев.

— Тому, что он умирает.

— Тому, что он сказал о бомбе.

— Да, верю, или, точнее, готов поверить. Я так и думал с самого начала, иначе, по-моему, и быть не могло.

Гришев пожал плечами.

— Правда это или нет, самое главное — вытащить его отсюда.

И вдруг мы услышали со стороны кухонной двери чей-то резкий, бесцветный голос, обращенный к нам.

— Согласен. Самое главное — вытащить его отсюда.

Мы повернулись на голос. Это оказался Максимилиан Гомес. Он стоял в дверях с наведенным на нас тяжелым "люгером". Куда девался улыбающийся, светский, сладкоголосый сахарный дипломат, с которым мы познакомились в Грейт-Нек? Теперь он был тверд, холоден, как

лед, и полон значительности момента. Как ему, наверное, казалось, весь мир был почти что — без преувеличения, почти что — у его ног, и, подобно Содому и Гоморре, два города должны были превратиться в огненные столпы. Он ощущал себя богом и разговаривал соответственно. Он был высок, красив, мужествен и победителен — и в то же время полон ненависти, презрения и пренебрежения к той гигантской власти, которой вот-вот овладеет. Он был свободен от обязательств, поскольку сто пятьдесят тысяч долларов, заплаченные мне за то, что я стал проводником во мрак, были мною отвергнуты. Я его предал, а он меня нет. Так что его появление было естественным и закономерным. И я понял это гораздо быстрее, чем изложил бы на словах. Когда событие превращается в кинофильм или роман, то появляется масса диалогов, а действие концентрируется вокруг оружия. Но когда жизнь превращается в кошмар, выходящий за грань, оружие становится последним аргументом, а не началом спора. Я знал, что Гришеву это известно, и, когда мы обернулись, мы сделали то, что должны были сделать, без колебаний и сомнений, и за доли секунды наши мысли обратились в действие.

Я оттолкнул Филлис в сторону и нырнул к стене. Гришев бросился на пол, стреляя через карман, затем перевернулся и, прижавшись к стене, продолжал вести через одежду слепой огонь по Гомесу. Гомес проиграл, поскольку перед ним было две цели, и те доли секунды, которые он потратил на выбор, оказались решающими с точки зрения жизни и смерти. Я тоже сначала выстрелил через пиджак, но потом, перевернувшись на полу, вынул оружие из кармана. Однако, когда я вступил в дело, Гомес уже валился с ног. Гришев попал в него четыре раза. Я же стрелял через карман всего один раз, второй выстрел был наугад, а третий или четвертый настигли Гомеса, когда он уже падал. Гомес свалился лицом вниз, и, когда мы подошли ближе и перевернули тело на спину, оказалось, что в него попало пять пуль, причем две — в голову.

Хортон потерял сознание. Он неподвижно лежал там, где мы его оставили. Глаза его были закрыты. Филлис стояла, прижавшись к стене, на том месте, куда я ее толкнул. Она тяжело дышала и глядела широко раскрытыми глазами, полными недоверчивого ужаса, на распростертое тело Гомеса.

Я прошел на кухню и запер кухонную дверь изнутри. Затем побрался к парадному входу и задвинул крюк. Окна нижних этажей были закрыты ставнями, но когда я поискал ставни на окнах гостиной, то обнаружил, что в этой квартире окна заменяли только жалюзи. Через одно из затворенных окон я поглядел на улицу. Было уже темно. Здесь, в пустыне, в самом центре Манхеттена, светили только луна и звезды, и я увидел, что на улице перед домом стоят трое. Я узнал Джеки, сорокалетнего истинно американского мальчишку. Он стоял перед парадной дверью, тяжелый, огромный, крепко сбитый и уродливый. Другой, возможно, был его товарищ, мистер Браун, но всех их как будто одна мама родила: бандитов, гангстеров, хулиганов, наемных убийц, которым за это платят и которые всегда готовы выполнить заказ. Я



вернулся в дальние комнаты, Филлис не тронулась с места. Гришев, стоя у окна во двор, знаком подозвал меня. Я подошел, он указал пальцем, и я увидел в куче щебня посреди двора еще двоих. Они глядели на наши окна. Вряд ли они видели нас — они просто стояли и наблюдали за квартирой, желая знать, что означают эти выстрелы.

На черной лестнице послышался шум. Кто-то дергал ручку двери. Затем на дверь навалилось чье-то тело. Гришев вынул пистолет из простреленного и прожженного кармана, навел его на дверь, продуманно выбирая подходящую точку, и затем так же продуманно и тщательно нажал на спуск. Филлис при звуке выстрела вскрикнула — он был подобен грому в этой маленькой комнатке — но тут же через закрытую дверь мы услышали мужской крик и звук падающего тела.

Холодный, как лед, Гришев повернулся ко мне, поглядел на свой пистолет, вынул обойму и вернул ее на место.

— У меня нет запасных обойм, Клэнси, — сказал он, — а у вас?

Я покачал головой и провернул барабан своего револьвера.

— Есть еще два патрона, — ответил я.

— А у меня из семи патронов в обойме осталось тоже два, — сказал Гришев. — Так что мы в равном положении. Как полицейские мы с вами, Клэнси, два сапога пара. Ни фонариков, ни патронов, ни телефона, ни заранее разработанных возможностей отхода. Что-то нас ждет, Клэнси?

— Меня — увольнение, — сказал я. Рука, держащая револьвер, дрожала. — А вас, наверное, ссылка в Сибирь, расстрел или что-то в этом роде.

— Да, что-то в этом роде, — пожал плечами Гришев, подошел к Гомесу и взял его автоматический пистолет. Быстро и профессионально он обыскал карманы убитого. Запасных патронов не было. Тогда Гришев вынул обойму из "люгера".

— Сколько?

— Пять, — ответил Гришев. — Плюс два моих — получается семь, и два у вас в револьвере, итого: девять.

— Кто вы такие? — прошептала Филлис. — Скажите, кто вы такие и из чего вас сделали, если вы стоите и спокойно считаете патроны? Двое убиты, умирает Алекс. В какие страшные игры вы играете, Клэнси?

Гришев покачал головой.

— Мы играем в игры того мира, в котором живем, мисс Гольдмарк. В прекрасные игры двадцатого века. А что нам еще делать, мисс Гольдмарк? Они нас ждут. Ждут в вестибюле, ждут на улице, ждут у черного хода. Что нам еще остается? Вы можете подсказать, что нам еще остается делать?

Филлис пристально смотрела на него, не произнося ни слова. Я подошел к Гришеву и сказал:

— Дайте мне пистолет Гомеса. Один из нас должен пойти на прорыв.

Гришев отстранил меня.

— Не вы, Клэнси.

— У меня это получится лучше, Гришев.

— Ни черта у вас не получится. Это моя работа, Клэнси. Меня специально этому учили.

— Никто вас этому не учил, Гришев, — парировал я. — Вы прекрасно знаете, зачем лезете в пекло.

— Можно подумать, что вы знаете, — рявкнул он.

— Знаю. Если вы прорветесь, то побежите в свой прелестный домик на Парк-авеню, перескажете им слова Хортон, расскажете, что нет никакой бомбы — ни тут, ни в Москве, — а они начнут допрашивать вас с пристрастием, потому что они вам не поверят.

— А вам? — крикнул Гришев.

— Они вам не поверят, и вас будут жарить и парить, и вам вывернут наизнанку все нервы и мускулы, но вы будете повторять, что бомбы нет, а они все равно вам не поверят. Тогда вам вкатят дозу вещества, которое люди выдумали для того, чтобы другие люди ничего не могли от них скрыть.

— Дурак вы, дурак, — прорычал Гришев. — Дурак набитый. Поверили лжи, которой вас пичкают. И собственным глупостям. А теперь, Клэнси, слушайте и не перебивайте. Я выхожу через парадную дверь. Иду вниз по лестнице. У вас в револьвере два патрона. Прикройте меня из окна. Не спорьте, спорить некогда. И не позволяйте Хортону умереть! Слышите, мисс Гольдмарк? — произнес он, обернувшись к Филлис. — Не позволяйте Хортону умереть! А политические споры нам вести некогда. Не мы это выдумали. Так что прикройте меня, Клэнси!

Филлис глядела на нас, беззвучно плача и тихо вздрагивая. Свой пистолет Гришев сунул в карман, а "люгер" Гомеса взял в правую руку. Подойдя к парадной двери, он прошептал:

— Когда я выйду, закройте снова дверь на крюк. А теперь дайте руку, Клэнси.

Он перебросил "люгер", и мы пожали друг другу руки в темноте, в черной яме, где нас уже не было, а было лишь наше общее дыхание и пожатие рук. Прямо в ухо он прошептал:

— Пошли они все к чертям, Клэнси! Ко всем чертям! Со всем их миром, бомбами, политикой! У нас с вами, Клэнси, было еще что-то, правда?

— Было, — согласился я, и у меня перехватило горло.

— Было, да не сплыло и, может, не сплывет, Клэнси. — Гришеву нравилось пользоваться американскими идиомами. И он добавил:

— Держись!

— Буду! — ответил я.

И он вышел из квартиры, а я запер за ним дверь и вернул крюк на место.

Я подошел к окну, выходящему на фасад, открыл его, с силой подняв раму максимально высоко. Пока я это делал, на лестнице загрохотал "люгер". И тут я выставил свой револьвер в окно, моля Бога, чтобы правая рука перестала дрожать.

Гришев выпрыгнул из парадного хода. Я этого не ожидал. Я не ожидал, что он выскочит из дома так быстро, что он будет скакать, как дикий зверь. Из подъезда он выпрыгнул длинным, замысловатым

прыжком. И когда Джеки, оказавшийся слишком далеко от него, повернулся и рванулся в его сторону, Гришев бросился на мостовую, перевернулся, замер и застрелил Джеки. Другие двое палили в сторону Гришева, но нельзя одновременно бежать, менять направление и место, стрелять, если у тебя пистолет. Я подпер правую руку левой, уперся локтем в раму, аккуратно прицелился и точно выстрелил. С первого выстрела я не попал. Вторым я свалил маленького, худого мужчину, наверное, мистера Брауна. Гришев уложил третьего, но теперь по нему стали вести огонь из вестибюля. Гришев споткнулся, упал, но полз вперед. Тут из ближнего дома выскочили еще двое, а из-за последнего строения выбежал еще один и понесся по середине пустынной мостовой наперерез Гришеву. Я швырнул в них свой пустой револьвер, но они сосредоточились на Гришеве и вели по нему огонь, пока не убили — превратили в труп. Сначала их было трое, потом четверо, затем пятеро. Они встали в круг и стреляли в Гришева. А я стоял наверху, опершись на грязную оконную раму, плача, молясь и наполняясь дыханием большой пустоты смерти.

Как раз в этот момент подъехали полицейские машины с включенными "мигалками" и воем сирен, разогнавшим жалкие остатки хулиганов Гомеса. Началось преследование по всей стройплощадке: вначале подъехала одна патрульная машина, затем вторая, а потом подкатил большой черный лимузин Камедея.

Но было слишком поздно.

Я прошел внутрь квартиры. Рядом с Хортоном на коленях стояла Филлис. Увидев меня, она встала и сказала, что Хортон мертв.

— Гришев тоже, — добавил я.

Стало пусто на душе. Я подошел к Хортону и приподнял плед. Один из двух выстрелов Гомеса задел его, и теперь он покоится в мире, ныне, присно и во веки веков, с пулей от "люгера" в груди. Я натянул грязный плед на лицо Хортону и подошел к Филлис. Говорить было нечего, да и не было у меня слов. Я посмотрел на нее, а она, помедлив немного, взяла меня за руку. Так мы стояли и ждали.

Часть четырнадцатая

СЕНТЕР-СТРИТ

Прошли три дня, прежде чем меня вызвали, и оттуда, где я находился, меня повели в кабинет Камедея. Эти три дня я провел не в номере, а в звукоизолированном помещении в административном здании. Туда поставили раскладушку, чтобы я мог спать. В комнате было тихо, и в этом заключалось единственное ее назначение. Со мной обращались хорошо и предупредительно. Меня завалили сигаретами, шоколадом, мне принесли пепси-колу и однажды даже дали полбутылки смешанного с тоником martini, думая этим завоевать мое расположение. Поначалу его и не надо было специально завоевывать, но потом все переменялось. Еда была хорошей. Ее приносили из города.

В первый день бифштекс, на второй отбивные из молодого барашка, на третий тушеную говядину.

Вначале со мной беседовал сам Камедей, но через несколько часов он передал меня двоим сотрудникам — Старку и Бингаму. Это были хорошие специалисты, с многолетним стажем, умеющие заставить людей говорить на нужные темы. Не окриками или мордобоем. Это были психологи. Их главной задачей было добиться доверия и дружеского расположения своих "подопечных", с тем чтобы они разговаривались. Два дня подряд они являлись ровно в десять утра. Они садились, предлагали сигареты, а на случай, если бы мне захотелось закурить сигару, у них были с собой и сигары. Они улыбались во весь рот и знали массу способов снимать у собеседника ощущение страха. Начиная всегда Старк. Он произносил такую фразу:

— Клэнси, я и Бингам — люди разумные, мы по натуре люди разумные. И от вас хотим, чтобы вы вели себя разумно.

Я кивал в знак согласия и демонстрировал готовность быть разумным.

Тут вступал Бингам:

— Тогда, Клэнси, начнем с главного.

Может быть, одной из причин, по которой Камедей избрал меня на роль преподавателя, было то, что я отличался точностью языковых конструкций. Были выражения, которых я намеренно избегал. Не знаю, почему я их терпеть не мог, но, например, предпочел бы, чтобы меня медленно убивали, но никогда бы не употребил выражения "начать с главного". Поэтому я задавал вопрос Бингаму:

— Что вы имеете в виду, говоря "Начнем с главного"?

— Главное, Клэнси.

Тут вступал Старк:

— Не заводитесь, Клэнси, не заводитесь.

— Значит, начнем с главного, вот и все, что я имею в виду, Клэнси, начнем с главного.

Тогда я говорил:

— Никакой бомбы нет. Коротко и ясно. Четко и понятно. Бомбы никогда не было. Ни у нас, ни в Москве.

— А разве я спрашивал, есть ли бомба? Я сказал: "Начнем с главного". Начнем с начала. Начнем с того момента, когда вы впервые услышали об Алексее Хортоне; и пойдем дальше...

Это продолжалось часами, взад, вперед, по кругу. Терпения им было не занимать, но, подумав как следует, я понял, что, поскольку они каждую неделю получают зарплату независимо от того, чем конкретно занимаются, они прекрасно могут проводить все свое рабочее время в маленькой комнате, где находился я. Я уже сказал, что в первый день со мной беседовал Камедей. На следующий день они допрашивали меня с десяти часов утра до двенадцати часов ночи. Без перерыва. Уйти было некуда, спрятаться негде. Они допрашивали меня даже тогда, когда я пользовался неотгороженным туалетом в углу комнаты. Они допрашивали меня, когда я чистил зубы, мыл руки и раздевался. Они допрашивали меня, когда я ложился на специально поставленную для

меня раскладушку и пытался заснуть... Они были вежливы, но настойчивы. На третий день все началось сначала, с той разницей, что они работали со мной до четырех часов дня. В четыре двое полицейских в форме пришли за мной и повели меня к Камедею.

У него в кабинете было еще двое: Сидней Фредерикс из департамента юстиции и Джексон из Центрального разведывательного управления. После первой встречи я ни разу не виделся с Джексонсом. Он не был со мною любезен тогда, не был он любезен и теперь. Все трое сидели в кожаных креслах, курили сигары и разглядывали меня. Камедей жестом велел полицейским покинуть кабинет. Остальные молча сидели и курили сигары. Меня это не впечатляло. Я решил, что это выглядело слишком нарочито и по-детски, и через несколько минут спросил Камедея:

— Где мисс Гольдмарк?

— Здесь, в здании, — бросил он.

— Вам незачем держать ее здесь. Почему вы ее не отпустите?

— Нам незачем держать здесь и вас, Клэнси, — пожал плечами Фредерикс.

Не обращая на него внимания, я сказал Камедею:

— Отпустите ее. Мне было дано задание, и я его выполнил. Мне было приказано найти Хортоня, и я его нашел. К ней это не имеет отношения. Отпустите ее.

Камедей спокойно произнес:

— Ни черта вы не выполнили, Клэнси. Ни черта.

Прежде чем что-то сказать, я осмыслил слова Камедея. И решил:

— Хотите знать, что я о вас думаю?

— А что вы думаете? — спросил начальник полиции.

— Думаю, что вы, Камедей, просто мерзкий, грязный таракан. Вот что я думаю о вас, Камедей.

Шея его набухла, кровь ударила в лицо: оно раздулось и побагровело. Он дернулся вперед, но затем взял себя в руки и опустился в кресло. Затянулся и сказал:

— Это дорого вам обойдется, Клэнси.

— Как дорого? — уточнил я, и голос мой был столь резок, что со стороны могло показаться, что вместо меня говорит кто-то другой. — Во что конкретно это мне обойдется? Что вы собираетесь сделать? Убить и спрятать труп? Прорубить выемку в фундаменте и укрыть меня навеки?

Камедей молчал, заговорил Фредерикс:

— Не думайте, Клэнси, что вы тут самый гордый.

— Почему бы и нет? Я знаю, что ожидало Гришева. Гришев тоже знал. Вы думаете, ему хотелось умирать? Вот вы сидите, трое умников. Неужели вы верите, что Гришев ринулся под пули, потому что был героем? Черта с два! Он просто рассчитал: что в лоб, что по лбу — одно и то же. И он выбрал самый легкий путь. Или ему этот путь показался самым легким. Он, однако, был русский. А мы ведь не русские? Или я ошибаюсь?

Тут в первый раз заговорил Артур Джексон:

— Вы слишком громко разговариваете, Клэнси. Слишком громко разговариваете и слишком много думаете.

А Камедей добавил:

— Не усложняйте ситуацию, Клэнси. Не усложняйте ее для себя, не усложняйте для нас, не усложняйте для кого бы то ни было.

Я подошел к ним и прошептал:

— Я уже сказал вам и не раз говорил вашим психологам: никакой бомбы не существует. Ее никогда не было.

Фредерикс поманил меня пальцем.

— Предположим, мы поверили вам, Клэнси. Поверили безоговорочно. Откуда вы знаете, что Хортон говорил правду?

— Знаю.

— Что-то вы больно много знаете! — прорычал Камедей.

— Я знаю, что он не делал бомбы, — произнес я негромко, держа себя в руках.

— Раз вы смогли бы сделать бомбу, то почему не Хортон?

— Потому что я — это я, а Хортон — это Хортон.

— Вот этого-то мы и опасаемся, — улыбнулся Джексон. — Того, что вы не Хортон.

Мне не нравился ни один из них, но меньше всего мне нравился Джексон. Все они базировались на определенной теоретической предпосылке, и как полицейский или бывший полицейский я мог профессионально признать правомерность такой теоретической предпосылки и целесообразности принятия мер на ее основе, пусть до определенного предела. Но для Джексона теоретическая предпосылка переставала быть предпосылкой и теорией: она становилась реальностью. При любых обстоятельствах мне говорить было нечего и незачем, и когда заговорили они, просто стали опять задавать те же самые вопросы.

Я либо не достаивал их ответом, либо отвечал коротко "да" или "нет". Но когда они стали обсуждать проблему Гришева, я сам их спросил, неужели они всерьез полагают, что при наличии бомбы Гришев бы поступил так, как он поступил, ринувшись под выстрелы. Я пытался доказать свою точку зрения. Объяснил им, что у Гришева в Москве остались жена и дети.

— А разве это что-нибудь меняет? — удивился Камедей.

— Если бы бомба действительно существовала, Гришев не совершил бы самоубийства.

— Он не совершал самоубийства, — настойчиво утверждал Джексон. — Он попытался вырваться. У него был "люгер" Гомеса и собственный пистолет. Он попытался вырваться, оставив вас, девушку и Хортон в положении подсадных уток. Предположим, что действительно в Нью-Йорке нашлась бомба. Вы считаете, что это было бы важно для Гришева? Что он слезы лил по Нью-Йорку? Вы в это верите?

— Мне тошно вас слушать, — сказал я Джексону. — Мне тошно вас слушать, когда вы выражаетесь таким образом. Правда, тошно. У Гришева было столько же возможностей вырваться оттуда, как у меня отсюда. И вы прекрасно об этом знаете.

— Мы абсолютно ничего не знаем, — вздохнул Фредерикс.
— Вы самодовольный болван, — с отвращением произнес Камедей.
— Вы ничему не научились, Клэнси. Вы залезли на крышу и не желаете спускаться.

Они опять вызвали двоих полицейских в форме, и те отвели меня назад. Но теперь у меня забрали сигареты, шоколад, пепси-колу, и в комнате не осталось ни одного печатного слова: ни книги, ни газеты. У меня забрали ремень и галстук, пиджак и носки, и в таком виде я просидел до утра. Забрали у меня и часы, так что я потерял счет времени. В комнате было маленькое окошко, но очень высоко — с толстым молочным стеклом. Создавалось ощущение почти полной темноты, поэтому я решил, что наступает утро.

На этот раз пришли трое, и далеко не психологи. Это были парни старинного образца с мощными мускулами. Они тут же стали меня обрабатывать. Инструментом служили короткие отрезки резинового шланга. Иногда они работали голыми руками, но действовали аккуратно и профессионально, не оставляя видимых следов. Не знаю, сколько времени они мною занимались: три часа, четыре часа, пять часов или только час; при подобных обстоятельствах счет времени ничего не дает.

В процессе обработки мне задавали вопросы. Они сажали меня на стул, потом выбивали его из-под меня. Они спускали лампочку с потолка и светили ею прямо в лицо. Они допрашивали меня и одновременно обрабатывали резиновым шлангом. Меня оставляли на полу, чтобы я думал, что все позади, я терял сознание, и тут они вновь брались за меня, прогоняя через всю комнату носками ботинок. Меня прислоняли к стене и профессионально скидывали на пол. Потом подтягивали вверх и повторяли процедуру, пока я не сбивался со счета.

Сначала я попытался вспомнить Ганса Кемптера и собственную реакцию на происходившее в звуконепроницаемой камере. Я старался припомнить разговор о кустарной атомной бомбе, понимая, что, хотя ее не существовало для меня, они могли исходить из предполагаемого факта ее существования. Я убеждал себя, что если сохраню разумный подход, снисходительность и объективность, то не сойду с ума.

Но беда заключается в том, что подход этот ненормален. Он не проистекает из реальных условий существования. И через некоторое время я отбросил объективность и начал ненавидеть. Ненависть — это род болезни, но при определенных условиях она превращается в лекарство, помогающее выжить. И к тому моменту, когда они кончили, я ненавидел их так, как никогда никого не ненавидел.

Меня подняли с пола, положили на раскладушку и ушли. Они приходили не по своей инициативе и не по своей инициативе ушли. Меня никто не обзывал и не ругал непристойными словами. Они работали профессионально.

После их ухода я лежал ничком на раскладушке, рыдая и моля Бога, в которого верил лишь наполовину, даровать мне потерю сознания. Мои молитвы были услышаны. В итоге пришел врач. Он быстро, но

внимательно осмотрел меня, сделал укол морфия и переселил в тихий мир красоты бессознательного сна.

Два дня меня не трогали, и за эти два дня я поправился и взял себя в руки. И когда на третий день после физической обработки ко мне пришел Фредерикс, мне было больно только при движениях и прикосновениях к шрамам. Глаза уже кое-как открывались, и я разглядел его, приподняв, сколько можно, распухшие веки, а палец, который я счел сломанным, оказался всего лишь вывихнутым.

Фредерикс сел за простой деревянный стол, входящий в стандартное оборудование звуконепроницаемой комнаты, и знаком подозвал меня. Я сел напротив и взял предложенную сигарету. Она показалась вкуснее, чем любая выкуренная мною ранее, и, когда Фредерикс увидел выражение моего лица, он положил на стол всю пачку и предложил ее мне. Я поблагодарил.

— Как вы относитесь ко мне, Клэнси? — спросил он.

— А никак. Мои чувства ничего не значат. У вас своя работа, Фредерикс. Не обременяйте себя чувством вины.

— Никто не говорит о вине, — задумчиво произнес Фредерикс. — Мы просто исходили из определенного предположения. Мы оба знаем это. Поставьте себя на мое место, и вы поймете, что подобное предположение вполне естественно.

— Но я не на вашем месте.

— Ладно, Клэнси, факт остается фактом: мы вынуждены были исходить из этого предположения.

— А где Филлис? — спросил я.

— Здесь, — последовал ответ. — У нее все в порядке. О ней заботятся.

— Как обо мне, Фредерикс?

— Послушайте, Клэнси, — вздохнул он, — либо мы разговариваем как цивилизованные люди, либо сидим и бросаем друг другу в лицо взаимные обвинения. Выбирайте.

— Как цивилизованные люди, — улыбнулся я. В первый раз за несколько дней. Мне стало больно. Болели мускулы рта. Болели разбитые губы, складываясь в гримасу, и все-таки это была улыбка. Оценивающая и снисходительная. Она давала понять и мне, и Фредериксу, что я все еще человек. Ибо существует биологический факт — животные не улыбаются.

— Чем мы занимаемся? — дотошно спрашивал Фредерикс. — Играем в камушки на жизнь восьми миллионов человек здесь и примерно столько же в Советском Союзе? Дайте ключ, Клэнси, думайте головой. Шевелите мозгами. Вы же не идиот.

— Что вам теперь от меня нужно, Фредерикс?

— Готовность говорить разумно.

— Попробую.

— Хорошо, — начал Фредерикс. — Пусть это звучит дико, но мы обязаны были выработать для себя рабочую гипотезу, заключающуюся в том, что и вы, и девушка знаете, где находится бомба. Теперь мы дошли до той точки, за которой эта гипотеза становится лишней оператив-

ной ценности. Я сейчас не говорю о том, существует ли эта бомба в природе, и не пытаюсь высказать личное мнение на этот счет. При данных обстоятельствах личное мнение не играет никакой роли. Ни мое, ни Джона Камедея. Мнение окрашено жизненным опытом, эмоциями и философской точкой зрения. Вы можете положиться на собственное мнение, Клэнси, если речь идет о вашей жизни или о жизни вашей жены и детей; но нельзя полагаться на субъективное суждение, когда речь идет о жизни пятнадцати миллионов человек. Вот почему мы вынуждены были принять известную вам рабочую гипотезу за основу. Вы меня понимаете?

— Я вас понимаю, — устало произнес я.

— Тогда все в порядке. Данная рабочая гипотеза не привела к оперативным результатам, и не потому, что она неверна, а потому, что мы не в состоянии узнать от вас или от девушки, где эта чертова бомба.

Тут я выпалил на одном дыхании, что бомбы нет.

— Допустим, Клэнси, что бомбы действительно нет. Ради Бога, думайте как полицейский! Как грамотный полицейский — хотя бы две минуты!

— Я больше не полицейский, Фредерикс.

— Я прошу: "Думайте как а к полицейский!" "Как", Клэнси! Вы в состоянии отвергнуть рабочую гипотезу хоть на мгновение? Спокойно спать, не задавая себе вопросов, знают ли Клэнси и Гольдмарк, где эта бомба? Дать показания под присягой, что они действительно этого не знают? Вы бы смогли, Клэнси?

Я задумался и отрицательно покачал головой.

— Не смог бы.

— Прекрасно, — согласился Фредерикс. — Все становится на свои места. Существует рабочая гипотеза. Она сохранит силу до тех пор, пока не уйдете из жизни и вы, и мисс Гольдмарк. А, быть может, она переживет вас обоих. Не исключено, что она потеряет актуальность, но никогда не перестанет существовать, Клэнси. Хортон мертв, Гришев мертв, Симоновский не обнаружен. Не исключено, что он и не будет обнаружен. С Хортоном были только вы и мисс Гольдмарк, и ни один человек на свете не знает и не узнает, что вы сказали друг другу; вот почему существует наша рабочая гипотеза. Даже если бы мы вас сейчас убили, даже если бы мы повели себя так, как вы придумали в ваших романтических сказках: избавились от ваших трупов и уничтожили все следы вашего прежнего пребывания на Земле, — это бы не изменило основ нашей рабочей гипотезы: возможности создания Хортоном бомбы и пребывания ее в каком-то месте.

— Не оспаривайте очевидные факты, Фредерикс, — устало произнес я. — Гришев и я вышли на истинную гипотезу. Вышли на нее в тот момент, как только Хортон сказал нам, что бомбы не существует. И мы поняли, что ее и не могло существовать. Знаете, я никогда не встречал такого человека, как Гришев. Вы работаете в департаменте юстиции, Фредерикс, и вам это трудно переварить. Он не перешел на вашу сторону. Он не струсил. Он ни на минуту не изменил тому, во что верил. Он просто сразу четко понял истинное положение дел и тем самым

достиг цели. Дальше делать было нечего. Он дошел до точки. И поставил точку — для себя.

— Но вы-то не поставили точку, Клэнси.

— Не поставил, — сказал я. — Я полюбил, Фредерикс, и женщина, которую я люблю, находилась со мной в одной комнате. Быть может, Гришев тоже любил, но его любимая женщина находилась от него на расстоянии пяти тысяч миль, и в своем воображении он не мог перебросить мост через это расстояние в надежде вновь с ней увидеться. Истина была одна для нас обоих, но Филлис была рядом, а жена Гришева — нет.

— Пусть будет по-вашему, — пожал плечами Фредерикс. — Хочу дать вам совет, Клэнси: пусть политикой занимаются политики. Мы продержим вас тут на неделю дольше обозначенного в письме Хортон срока. Это означает только одно: если наша рабочая гипотеза существует, то при ней будет своего рода предохранительный клапан. Когда эта лишняя неделя пройдет, вы и мисс Гольдмарк будете свободны. Нам бы хотелось, чтобы вы пока не покидали город. За вами будут наблюдать, но не слишком назойливо. Не усложняйте ситуации для нас. Если вы не будете создавать нам затруднений, то наша рабочая гипотеза будет максимально трактоваться в вашу пользу. Никому об этом не говорите, и пусть эта история останется для вас страшным сном.

— Она и была страшным сном, Фредерикс, — заметил я. — С той минуты, как я вошел в кабинет Камедея и увидел вас, Джексона и всех остальных, для меня начался сплошной страшный сон. И ничего более.

— Нет таких снов, которые нельзя было бы забыть, — сказал Фредерикс, поднимаясь из-за стола и одобрительно глядя на меня. После этого он протянул мне руку, я протянул свою, мы попрощались, и он ушел. Больше я его не видел.

Остальные дни тянулись медленно, но и они миновали. Мне разрешили читать и переписываться с Филлис. Вернулись шоколад, сода и

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Дорогой читатель!

Вот вы и прочли "атомный" триллер времен нашей "оттепели": динамичный, с первых строк вводящий в гущу конфликта роман Э. В. Каннингэма, то есть Говарда Фаста, в 1951 году удостоенного Сталинской премии мира, а с 1957 года — "неупоминаемого" у нас в стране после сознательного, принципиального выхода из Коммунистической партии США.

Автор обеспокоен и встревожен страшной опасностью ядерной войны. Когда произведение создавалось, еще не было Чернобыля, но уже были Хиросима и Нагасаки. И поэтому не случайно в романе сфокусированы страхи времени, сформулированные за несколько лет до того, как государства мира осознали опасность испытаний ядерного оружия и запретили их в атмосфере, в воде и на поверхности (1963 г.), а также поняли всю губительность передачи ядерных технологий

ресторанная еда. И когда назначенное время истекло, меня одели в новый костюм, чистую рубашку и проводили к Камедею.

Когда я вошел в кабинет, там в одном из кожаных кресел, уже сидела Филлис и ждала меня. Она была тоньше, чем мне представлялось, бледнее, миниатюрнее, но в глазах появился незнакомый свет, и, когда она встала и обняла меня, мы почувствовали себя единым целым, чего, по крайней мере со мной, никогда раньше не бывало.

Мы перекинулись несколькими словами с Камедеем, исходя из того факта, что в полиции я больше не работаю. Бумаги об отставке были готовы, и мне оставалось только их подписать. Затем он вынул из стола пачку денег.

— Это ваши пятьсот долларов на непредвиденные расходы, Клэнси, — сказал он. — Не знаю, зачем вы их брали, но вы к ним так и не притронулись. Мы их обнаружили у вас в бумажнике, когда делали опись вещей. Деньги эти уже списаны, так что можете взять их в качестве выходного пособия.

— Оставьте себе, — ответил я.

Он заорал:

— Заберите деньги, дубина стоеросовая, и убирайтесь!

Я взял себя в руки и вместо того, чтобы сказать, что собирался сказать, наклонился к Камедею и спокойно объяснил ему, что следует сделать с этими деньгами. И мы ушли. Я не пожал руки Камедею, да и он не подал мне руку. Думаю, что он невзлюбил меня столь же осознанно, сколь и я невзлюбил его, так что оба были довольны сложившейся ситуацией.

Мы вышли из здания на солнце. Была весна, и мы уходили вдвоем от прошлого. Нам надо было подумать о многом, многое сказать друг другу. Но после. А сейчас нам надо сохранить понимание, чувство локтя, вдохнуть свежий утренний воздух и идти рука об руку, зная, что мы свободны, свободнее, чем были когда-то каждый из нас.

"неядерным" странам, особенно с нестабильным политическим режимом, и подписали соглашение о нераспространении ядерного оружия (1966 г.).

И то, что сегодня становится повседневной необходимостью — сотрудничество полицейских служб Запада и Востока по предотвращению и пресечению международных актов уголовного и политического терроризма, — в начале шестидесятых воспринималось, как смелое-пресмелое художественное допущение. И у "нас", и у "них".

Мир меняется. В область преданий уходит многое из прошлого. Из небытия вернулось имя Говарда Фаста — автора нескольких романов: "Мои славные братья", "Гордые и свободные", "Спартак". Автора книги "Голый бог", рассказавшей о противоречивости и непоследовательности хрущевской "оттепели". И автора современных детективов, с одним из которых вы только что познакомились.

Владимир ЛЬВОВ

ПРОБА ПЕРА

Ирина ЛОБУСОВА,
16 лет, г. Одесса

ЖИВУ, КАК ВСЕ

Послушай, всю ночь за окном у нас дождь.
Ветер, во многих домах горит свет.
И где-то плачет ребенок, а где-то
Расходятся двое

когда-то счастливых людей.

Звонит телефон, и подруга, рыдая, кричит
Мне о том, что ее бросил парень, но мне
Наплевать на нее,

потому что тебя рядом нет,
И я костенею от боли и страха,
что всегда будет так.

Причудливо-гнусно шевелится тень на стене.
Послушай, ведь я же еще живой человек и
Я не могу больше так безнадежно ждать...

Что все мне? Лишь ты – и счастливей меня
Не найдется никто на земле... Но нас
Разделяет стена.

Наверное, это и есть восьмой круг ада,
Когда та, что любит сильнее всех, одна.
И всю ночь идет дождь...

Если свет потушу – погружусь в темноту.
Растворюсь, утону, будто в море родном.
И портрет на стене, и дома за окном,
Телефонный звонок – горький мой телефон.
Я возьму вас с собой в свои новые сны.
Все на месте другом и в другой стороне.
Я запомнить хочу, чтоб осталось во мне
Все, что пережила: твой портрет на стене,
Боль прошедших обид, расстоянья стена,
И мечту, как лазурь. Идиотки мечта...

И пепел бывших сигарет,
И жизнь –
какой-то пьяный бред,
И ты – король, а не валет,
Зовущий в вечность,
а не в свет.

И огорченья от тоски,
И разговоров пустота,
И я, привычно так, одна.
Ты – недоступная мечта.
И подворотни –
дом родной
И в них, конечно,
не с тобой...

Пусть дитя тусовки,
Но не дитя притона.
Пусть дитя раздора –
И просто человек.
Обожаю Джона,
Поклоняюсь Вите,
Ненавижу школу
И живу, как все.

Окольцован, но не мной,
Окольцован ты другой.
Тонкий желтый ободок –
Будто ком земли на гроб.

Обручальное кольцо –
Это как дорожный знак.
Обручалка на руке –
Поворачивай назад.

Тонкий желтый ободок
На тебя надет другой.
Маленький
могильный холм
Над разбившейся
судьбой.

Антон ЗАХАРОВ,
18 лет, г. Рига

МУЗЫКА ДЛЯ ДВОИХ

КАТЮШИН ОМУТ

*Березы тяжело стонут
И тайну берегут...
На речке этот омут
Катюшиным зовут.*

*Заря вдали кивнула.
Друзья мне говорят:
"Катюша утонула
Здесь много лет назад".*

*Друзья уходят живо
На дальнюю межу.
Стою я над обрывом
И на воду гляжу.*

*Березы, пригибаясь,
Склонились над водой,
И кто-то наблюдает
Из омута за мной.*

*С усталым, нежным звуком
На несколько минут
К себе девичьи руки
Из омута зовут.*

*Я знаю: если прыгнуть –
Ко мне придет беда,
Не вынырнуть, не выплыть
Из омута тогда.*

*Меж жизнью и меж смертью
Тумана сладкий дым.
Но не уйти. Я медлю
Над омутом твоим.*

* * *

*Кто-то скажет – "дурак!" –
И в висок пистолетом ткнет палец,
Смех его, саксофоня,
Три октавы прорежет струной.
В бочке дегтя людей,
К сожалению, меда так мало,
Мало тех, кто поймет,
Что сегодня творится со мной.*

*Я не тот, что вчера,
Но не надо звонить психиатру,
Мне теперь все равно,
Что вы шепчете там про меня.
Вы поймете не завтра,
А может, и не послезавтра,
Как слова "мой любимый!"
Органном аккордом звучат.*

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

*Я среди людей порою как в пустыне.
Я кричу о помощи, но только
Этого никто не замечает
Или не желает замечать.
Лишь когда голосовые связки лопнут,
Легкие без воздуха увянут,
Вдруг услышу: "Люди, помогите,
Помогите..." – где-то за спиной.
Или это тоже одинокий,
Он среди людей, как я, в пустыне,
Или это мой последний выкрик
Эхо обнесло вокруг Земли.*

* * *

*Что выплеснуть на белый лист бумаги
Из сердца, где кипит прибой любви?
Те щеки, полыхающие маки,
Или глаза счастливые твои...
Наверно, наши губы, что шептали
Какой-то несуразный детский бред,
Но мы друг друга сразу понимали
И верили, что слов прекрасней нет.
А может, музыку, которая звучала
Для нас двоих, манила за собой,
Кружила головы и жизнью заполняла
Два сердца, где кипит любви прибой.*

A photograph of a man with dark hair and sunglasses, wearing a white long-sleeved shirt and a brown belt, playing a silver saxophone on a stage. He is looking down at the instrument. In the background, there are several green circular stage lights. A microphone on a stand is visible to the left of the man.

**Музыка
для
детей
и инвалидов**

Вой сирены медицинской скорой помощи... Так начинается и длится композиция "Голоса", давшая название третьему, 1988 года магнитоальбому свердловской рок-группы "Апрельский марш". Краска автобиографическая для команды. После первого публичного выступления 22 июня (настораживающее совпадение даты) 1986 года коллектив до следующей весны не мог приступить к записи цикла "Апрельский марш - I", так как в психиатрической клинике, где оказались музыканты, подобная деятельность не предусмотрена.

Зато, как выясняешь из бесед с автором текстов "Апрельского марша" (а заодно, кстати, и "Настя") Евгением Кормильцевым - младшим братом Ильи Кормильцева (поэта "Наутилуса Помпилиуса"), дурдом располагает к чтению. Иные песни, например "В ожидании Годо", "Котлован" из альбома "Апрельский марш - II - музыка для детей и инвалидов", напрямую навеяны литературой. Психушка склоняет прислушаться к своему организму в экстремальных состояниях, о чем повествуют композиции "Наркоз", "Дантист", "Кома". Открыть, что милее всех тебе аргентинский фантазер Хорхе Луис Борхес и вымышленный персонаж одной из его новелл, который в свою очередь пишет роман "April March", подаривший имя уральской рок-группе. По первости сочинения "Апрельского марша" понять трудно. Впрочем, не более, чем следующий текст:

" - Однажды вечером повели меня в дом из раскрашенного дерева. Это была одна большая зала с рядами балконов. Люди на террасе били в барабаны и играли на лютях. Они страдали в оковах, но тюрьмы не было видно; скакали верхом, но лошадей не было; сражались, но мечи были из тростника; умирали, а потом вставляли на ноги.

- Поступки умалишенных, - сказал Фарадж, - превосходят воображение разумного человека.

- Они не были умалишенными...

Никто не понял, никто, видимо, и не пытался понять".

А ведь рассказчик в этой истории всего лишь пытается поведать о театре слушателям, которые театра никогда не видели. Подобные парадоксы сознания любил исследовать Борхес. Внимателен к странностям бытия и "Апрельский марш".

С ребятами общаться необычайно легко и отраднo. (Неужто в сумасшедших домах научились подлечивать?) Они спокойные, доброжелательные... плюралистичные, уважительные. (Вот редактор читал эту статью и думал, что если он - начальник, то я - дерьмо. Хотя второе утверждение из первого логически не следует. Скорее, наоборот: я была бы полным дерьмом, если бы всерьез считала его начальником.) Столь изящное построение математического толка наверняка одобрил бы физик-теоретик Женя Кормильцев. Потому мне понят-

нее и теплее дружить с "Апрельским маршем".

Свое творчество группа называет "сублимативным панк-джазом", "достаточно серьезной эклектикой", "псевдопопсой", а еще – "прибабахами с иным насыщением". Расхожие по жизни и искусству клише, которые артисты стечно обыгрывают в песенках, могут лежать совсем на поверхности. Как, например, в последнем, пятом альбоме "Апрельского марша", где выплывают следующие перлы:

*"На Свердловском вокзале
электричества нет,
На Свердловском вокзале
потерял я билет.
Альбион мой в тумане,
Мекка где-то вдали,
Но никто не обманет
Сальвадора Дали".*

С таким шедевром, кстати, в отличие от "сиротских" песен "Ласкового мая", выполненном в классических традициях жанра, "Апрельский марш" с успехом мог бы собирать подаяние по поездкам и на крупных концертных площадках. Однако музыканты предпочитают упрятывать кич в глубь замысловатых аранжировок, которые, хотя и дают ощущение зауми, но никогда не скучной. (Моя похвала имеет цену – как профессиональный искусствовед я терпеть не могу музыку.)

Восставая против бытописательства Кормильцева-старшего, Кормильцев-младший сражается с кормильцевщиной. Брата он характеризует примерно так: "Илья – смачный, жадный, бесцеремонный, помпезный..."

Женя трактует церемонность

особенно. Как, впрочем, и нежность, когда в песенке такого названия вождельно обещает любимой: "Я нашинкую тебя, как салат." Эту изыщную тему Евгений продолжает в композиции про вурдалака – "Мертвый жених". И венчает одной из последних и обожаемых самим собой песен – "Сержант Бертран".

События с сержантом Бертраном документальны. Любовная страсть подсказала ему убить возлюбленную, выпотрошить и съесть. Полковое командование не поняло Бертрана, обители скорби близости не оказалось, и сержанта расстреляли.

А мы с Кормильцевым-младшим любим подобные сюжеты, в том числе и в японском фильме "Империя чувств". В самом деле, обладание – так полное, что зря болтать – смерть от любви, любовь до гроба. Мы мыслим шире: любовь, возможно, только и начинается за гробом, жизнь для нее слишком несостоятельна. (Я, правда, в интимных отношениях не настолько темпераментна, как Бертран, но вот своего редактора бы...)

Впрочем, отвлекаюсь. А хотела попросить читателей помочь мне разрешить одну загадку. В пресс-релизе "Апрельского марша" сказано, что все тексты группы написаны Е. Кормильцевым, за исключением одного, принадлежащего воображению уже сто процентного психа, "постоянного обитателя крейзы – Михаила Борисовича Кузьмичева". Вы не отгадаете – который?

Нина ТИХОНОВА

Фото
Дмитрия ЛОВКОВСКОГО



Группа "Калинов мост" после долгого перерыва приступила к работе. Сейчас музыканты из Новосибирска во главе с лидером коллектива Димой Ревякиным записывают долгоиграющую пластинку.

Юрий Айзенлипис, один из руководителей фонда Виктора Цоя, столкнулся с трудностями. Он обнаружил, что в нашей стране можно заработать деньги и можно положить их в банк. Но вот распоряжаться ими после этого по своему усмотрению – уже проблема. И Айзенлипис занят тем, что изучает банковское дело, пытаясь найти логику и здравый смысл в нагромождении законов, постановлений и распоряжений, что препятствует нормальной работе фонда.

В США все чаще и чаще стали летать наши рок- и поп-исполнители. Так, совсем недавно туда отправился Андрей Мисин, который посетил Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. Ожидается, что итогом этой поездки будет запись пластинки.

Точно так же почти год назад улетел туда же и всеобщий девичий любимчик – Владимир Кузьмин. Но – знали бы, не отпустили – там он познакомился с симпатичной американкой. А уже возвратившись в Москву,

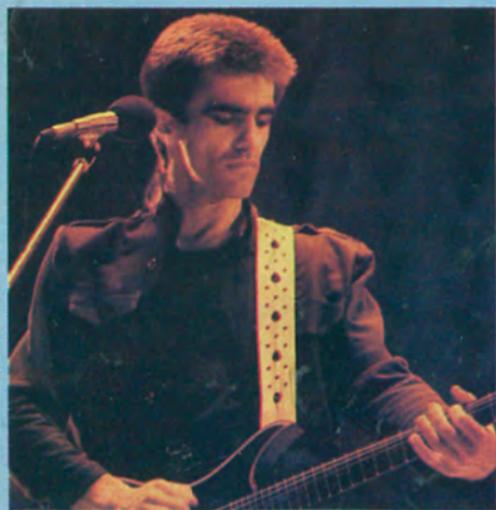
по-быстрому с ней расписался, посидел в ресторане с друзьями – и так же по-быстрому улетел в далекий город Сан-Диего, на родину супруги. Сейчас, как сказал менеджер, Кузьмин и остальные музыканты "Динамика" заняты тем, что записывают демонстрационный диск. А вообще Володя написал уже более десяти новых песен, и все они на английском языке. И, по словам того же менеджера, представляют определенный интерес для американской аудитории.

МОЗАИКА

Барабанщик группы "Грейт-фул Дэд" Мики Харт пишет уже вторую биографическую книгу. В условия контракта входит то, что он обязан посадить по два новых дерева за каждые три срубленных для производства бумаги для издания этого произведения.

Знаменитая "битловская" фирма "Эппл" выставила 2,5-миллионный иск против калифорнийской пластиночной компании, которая незаконно распространяла записи "Битлз", входящие в "золотой" фонд группы ("золотыми" дисками вообще-то артисты награждаются, а обложки с них затем украшают последующие пластинки). Калифорнийские же умельцы умудрились продавать их по цене 200 долларов каждая.

Некоторое время назад в Москву из Лос-Анджелеса был "выписан" поэт Тим Шумахер, который в течение четырех месяцев жил в СССР. Он, как обычный советский гражданин, ходил по магазинам, стоял в очередях, пил пиво в пивных, слушал речи Горбачева и мнение народа о них и т.д. Итогом стал цикл текстов песен, которые войдут в будущий альбом киевско-московской группы "Скандал". Все песни будут исполняться на английском языке. Среди них - "Кремлевский рэн", "Коммунистический блюз", "Прости нас, мама" и другие.



Группа "Наутилус Помпилиус" не так давно побывала в Берлине, где участвовала в ежегодном фестивале независимых фирм грамзаписи. Летом прошлого года музыканты посетили Нью-Йорк - там они участвовали в так называемом "Семинаре новой музыки". По их словам, это была не поездка, а целое приключение. Дело в том, что "Нау" прибыли в Америку на день раньше, чем человек, который должен был привезти деньги, необходимые для проживания. Ребята разместились в шикарной гостинице, не подозревая, что "кас-

В 1991 году на прилавках магазинов должен появиться очередной сборник лучших песен Боба Дилана, его очередной студийный альбом "Под красным небом" еще в работе.



Милиционеры ловили преступников, а поймали Игоря Сукачева – примерно так можно охарактеризовать инцидент, случившийся на Арбате в конце лета 1990 года. А дело было так: И. Сукачев, его жена, А. Скляр ("Ва-банк") и еще несколько человек шли поздним вечером по Арбату. Неожиданно они были остановлены сотрудниками 5-го отделения милиции, которые в грубой форме потребовали у них удостоверения личности, затем обыскали и предложили пройти в отделение. Короче говоря, встреча представителей закона и музыкантов закончилась дракой. Силы были неравными, поскольку милиция использовала не только дубинки, но даже пистолеты (хорошо еще, что обошлось без выстрелов). Следствие по этому делу сейчас уже закончено, материалы вот-вот будут переданы в суд. Милиционерам грозит по закону 5 – 8 лет тюрьмы. А "Бригада С", в свою очередь, грозит провести в Москве концерты с необычным названием – "Первая акция против полицейского террора".

сира" с долларами задержали в Шереметьево. На следующий день "наутиповцев" из отеля выдворили, и им пришлось размещаться на частных квартирах знакомых иммигрантов. Тем не менее на семинаре они успешно выступили, и их снимало Эм Ти Ви. И не только снимало, но и показывало. Сейчас они заняты тем, что ищут возможности перезаписи некоторых песен для художественного фильма, в котором будет звучать музыка "Нау", а также готовятся к активной концертной деятельности.

Вышла в свет новая книга, посвященная "Битлз", точнее, одному из ливерпульской четверки – Джорджу Харрисону. Она называется "Темная лошадка: частная жизнь Джорджа Харрисона". Основное внимание в книге, объем которой 242 страницы, уделено его экспериментам с наркотиками, разладом с первой женой – Патти, и увлечению индийской философией.

Составил
Николай СОЛДАТЕНКОВ
Декабрь 1990 г.

БЕЛАЯ РОЗА

ВЕРСИИ

В августе на концерте группы "Ласковый май" мы стояли у сцены. Наш фотокор снимал беснующихся в зале поклонниц. Одна из нас, Альбина, — дальноручка, другая, Инна, — близорукая. Поэтому именно Альбина заметила чудесную натуру: среди 13-летних фанаток возвышалась стройная женщина лет тридцати в джинсах, с косичкой, и слезы рекой текли по ее лицу. Была она блондиночкой (мы прозвали ее — "белая роза"), внешности не вызывающей, но приятной. (Рядом с ней мы — Инна и Альбина — хороши ослепительно и незабываемо.) Интересно было наблюдать за этой фигурой: ее толкали, ее обтекали потоки девичьих галлюцинаций, она же стояла пень пнем, не шелохнувшись, спрятав руки под обшлага черной куртки, и мы сказали друг другу, что где-то там, под воротником, она прячет пистолет. Особенно это ощущение у Альбины усилилось, когда женщина стала пробираться к сцене, строго и сосредоточенно глядя перед собой. Она почти протолкнулась к корреспондентскому кордону, но тут

произошла перестановка сил: вперед пробились юные культуристки местной секции атлетизма, и за этими "пальмами" женщина с ее пистолетом и глазами, полными слез, исчезла навсегда. Наш фотокор еще пощелкал и сбежал черным ходом, пока концерт не закончился, страшно беспокоясь за свою аппаратуру.

Вечером мы вернулись в гостиницу в свой удобный двухместный номер, вскипятили кофе и сели сочинять очередную рецензию. Хотелось есть. Надо сказать (это обстоятельство сыграло решающую роль в нашей истории), что в этой гостинице до трех часов ночи работает кооперативный кафе "Привал". Короче, в полночь мы не удержались и двинулись ужинать.

В холле первого этажа в кресле перед администраторшей сидела та самая блондиночка, а рядом околачивались двое мужчин — один примостился на поручне кресла, другой стоял перед ней. Они что-то оживленно ей говорили, но женщина вела себя так, будто не слышала.

Часом позже, плотно поев, мы снова шли через холл и увидели, что ситуация обострилась. Женщину окружало уже человек шесть, ее глаза выражали крайний ужас, зато абсолютно спокоен был взгляд администраторши.

Тогда Инна подошла к женщине (это сделалось как-то само собой) и сказала: "Пойдем". Тут надо заметить, что когда Инна куда-нибудь подходит, то все там находящиеся невольно стараются

Инна и Альбина СИАМ

держаться скромнее – это особенность ее характера. Наша неожиданная подопечная, явно еще не сообразив в чем дело, все-таки встала и пошла за Инной. К нам в номер.

Вот так мы с ней познакомились. Спала она на полу на матрасе. Но никакой особой благодарности нам не выражала, напротив, в каждом ее жесте сквозила органичная брезгливость ко всему окружающему, которую она, впрочем, пыталась скрыть.

Утром заканчивался фестиваль, уезжал "Май", уезжали мы, и она тоже. Мы обменялись с ней телефонами. Узнали, что зовут ее Ира К., ей 34 года и живет она в Москве. Особенно Ира К. интересовалась, можем ли мы сообщать ей, где и когда выступает Юра Шатунов. Мы можем, и она просила звонить...

– Интересно, – вспоминала потом Альбина, – за что она хочет его убить?

– Ты думаешь, все-таки убить? – пыталась возражать Инна. Но Альбина в своей версии не сомневалась.

А концертов Шатунова все не было и не было, и тогда мы напросились к Ире К. в гости просто так, без повода.

Квартира ее оказалась в самом центре Москвы, в дорогом кооперативе на Смоленке, куда, откровенно говоря, даже мать родную не пропустят, если сын не известит консьержку о своем согласии такую мать видеть. Ирина предварительно известила о нашем визите вахтершу, и мы беспрепятственно вошли.

– Родителей нет, – сказала Ира и как-то неопределенно махнула рукой в сторону одной из загралиц. – Я одна, располагайтесь.

Описание квартиры заняло бы столько времени и места, что мы просто скажем: вам бы так жить. Но Иру, казалось, ничто не может развеселить и порадовать. Говорила она коротко. О работе – "переводчик", о семье – "нет", об угощении, которое нас потрясло, – "да ладно". Но не встречалось еще такого человека, кто сумел бы умолчать, когда вопросы задает Инна. А вопрос-то был один – зачем ей, женщине, очевидно, рафинированной, утонченной, концерты Шатунова?

Исповедь Иры К.

– В тот год я жила с родителями в Лос-Анджелесе. Мой отец... он теперь тоже стал известным человеком... работал в одной из советских... фирм в Штатах, – с неохотой начинает повествование Ира.

Вообще-то дети советских сотрудников обычно остаются в интернатах на родине. Меня тоже устроили в мидовский интернат. Это, по сути дела, такой же детский дом. Даже по-своему хуже: избалованные дети кичатся тем, что им

привезли родители из-за рубежа, одному больше, другому меньше, одному из Парижа, другому из Монголии – сами понимаете, неравенство. А самое главное, постоянно ситуация стаи, лагерь он и есть лагерь, хоть концентрационный, хоть пионерский. Я была одинока и поэтому очень понимала Юрочку потом, когда он был в детдоме.

Родители сжалились и забрали меня из интерната. Я ликовала – еду в Лос-Анджелес. Моим кумиром был Элвис Пресли. Тогда он много снимался здесь, в Голливуде. И вот... вы мне не поверите...

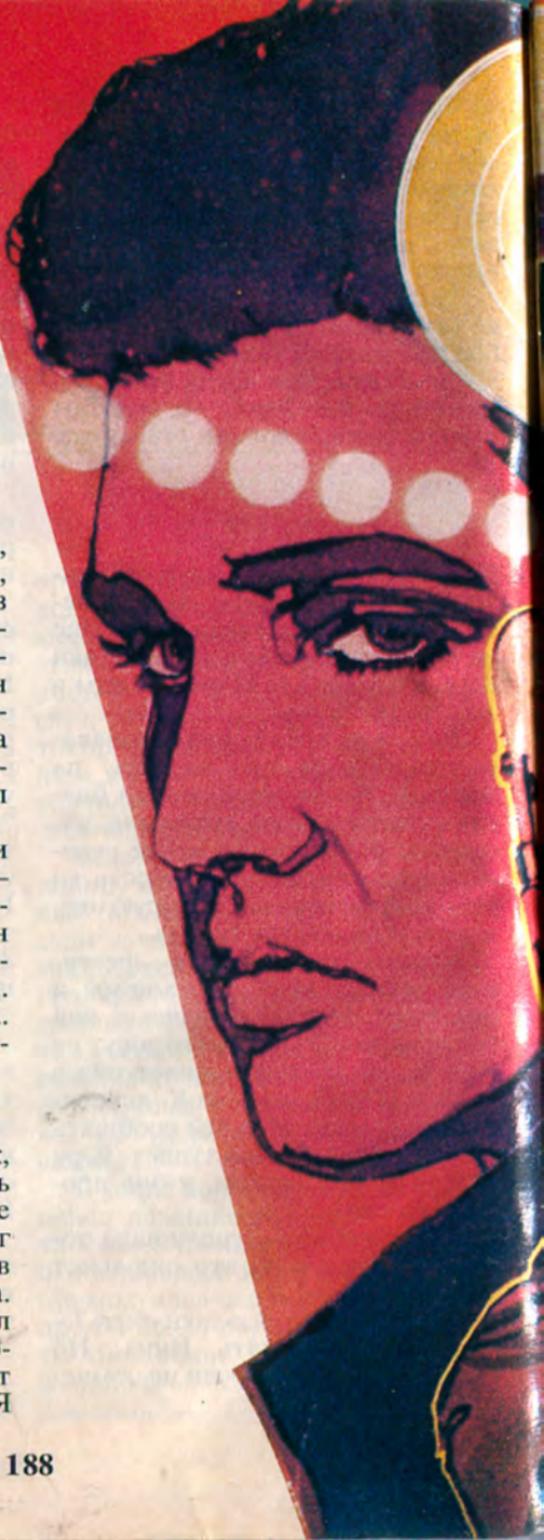
– Нет, поверим, – сказала Инна.

Альбина, правда, заранее сомневалась в нижесказанном.

– Я с ним познакомилась.

– С кем? – спросила Инна.

– Как-то раз во время съемок, куда я ходила регулярно поглазеть в толпе других зрителей, мы все стояли за ограждением. И вдруг увидели Элвиса. Я протиснулась в первые ряды и встала у турникета. Часа через два ко мне подошел симпатичный парень и предложил: "Через полчаса, если будет время, подходите во-о-от туда". Я





так и поняла, что он назначает мне свидание. Мелькнула, правда, мысль, что, может, в кино позовут сниматься, хоть в массовке, но это было бы слишком фантастично. Вот... Прихожу туда, а парня нет. 15 минут стою, 20 – все нет... И вдруг появляется!.. Элвис... Я рассматриваю его, он так близко!.. Я, конечно же, не думала, что он обратится сейчас ко мне. А он предложил сесть в машину.

И мы поехали по Лос-Анджелесу, по берегу океана...

Дальше Ира рассказывала такое, на что у нас сейчас не хватит красок передать. А потом...

– Наш роман продолжался неделю. Но это была неделя с Элвисом. Вот так, – твердо подытожила Ира.

Затем он исчез. Вернее, перестал подбирать меня на своей машине после съемок. Да и съемки закончились, он больше не появился.

Через две недели или через три я поняла, что беременна. Представляете?

– Конечно, – сказала Инна. А Альбина упрямо сохраняла свои обычные ироничность и скептицизм.

– Это было в 1972 году, мне – 15 лет. По нынешним временам не мало, конечно. А тогда...

Об аборте и речи быть не могло. Родителям даже в голову не пришло бы, что у меня такое могло быть. Месяца два я ждала, может, рассосется? А с другой стороны, я же читала и журналы, и книжки, и с рекламой там все в порядке, знала, как избавиться от ребенка. Но не сделала этого. Мне тогда представлялось все в радужном свете. Что мой ребенок будет такой... такой... что Элвис ко

мне обязательно вернется, и они вместе будут выступать когда-нибудь. В общем всякие удивительные, сказочные вещи. Я все ходила и пела его песенки. Мне казалось, что это должно как-то особенно повлиять на слух будущего сына. Я даже ни на миг не сомневалась, что будет сын. Я тогда как-то не понимала, что гены сделают свое дело и без песенок.

Когда родители заметили, это был кошмар. Папа метался по кабинету со "Смитом и Вессоном", грозился меня пристрелить. Рожала я в частной клинике. Папаша был буквально разорен. Мне даже казалось, что он больше всего нервничает именно поэтому. Зато почти никто из сотрудников не признал про мои роды.

Ребенок был прелестен... — тут она первый раз заплакала. — Через месяц его увезла в Москву одна семья самых близких и доверенных людей отца. Мне обещали, что мальчика устроят в Москве в семье, которую я знала, до тех пор, пока я не закончу колледж и не вернусь в Союз.

И я вернулась... через два года... Но о моем ребенке ни слуху ни духу. Женщина, которая его якобы усыновила, поначалу долго морочила мне голову, будто малыш умер. Я требовала от нее справку, документы, подтверждающие факт хоть чего-либо, произошедшего с сыном в этой стране. И через некоторое время эта женщина все-таки раскололась и призналась, что мой сын был передан в один из детских домов, но вот в какой, она уже, убей, не знает.

И начались мои многолетние мытарства. Я ездила во множество детских домов, перерыла архивы. Но вы же знаете, у нас всюду

— стена, — здесь она снова заплакала. — Я так ничего и не узнала.

Прошло 13 лет. И вот появляется мальчик. Юра — так я назвала своего сына когда-то. Та же популярность, что и у Элвиса, пришедшая слишком рано. То же лицо, улыбка, ямочка на левой щеке. Обаяние невыносимое. Та же трогательная склонность к полноте. Голос. Совпадение меня даже пугало. Мне казалось — это просто мираж. Я отметала всю ту чушь, которую передавало про Юру Шатунова телевидение и сочиняли какие-то злобные писаки. Я чувствовала, что это сын мой и Элвиса.

Надежды удостовериться было мало, но не зря я дочь разведчика. Я по крохам собирала нужную информацию, выбирала только правдивые данные, которые сообщал Андрей Разин. Я нашла те детдома, где так мучился Юра, постепенно вышла на дом ребенка, куда его сдали младенцем, и там окончательно убедилась, что это мой сын, хотя путаницу в документах разобрать пришлось немалую.

Конечно, мы не так чтобы сразу поверили Ире К. Но, с другой стороны, Ира совсем не похожа на истеричную фанатку, больную или сумасшедшую. Более того, она не претендует на славу, и как-то само собой подразумевалось, что ее рассказ останется между нами.

Однако с этой истории началось наше увлекательное расследование. Дело оказалось куда более запутанным и удивительным. То, что рассказала Ира, — лишь слабый ответ житейского приключения, где задействованы такие имена и силы, что... продолжение следует.

НА МАЛОМ ЭКРАНЕ

Когда в одном фильме играют три звезды — Дастин Хоффман ("Человек дождя", "Тутси"), Шон Коннери ("Неуязвимые", серия фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде) и Метью Бродерик ("Феррис Бюллер берет выходной", "Военные игры") — ждешь чего-то совершенно невероятного. Однако картина режиссера Сиднея Люмета ("Серпико", "Хозяин города") "Семейный бизнес" не столь уж впечатляет. Есть и комичные моменты, и драматические. В общем, всего понемножку, и все-таки чего-то не хватает. Скорее всего динамики. Хотя к актерам не притерешься. Дедушка (Шон Коннери) — профессиональный вор, его сын (Дастин Хоффман) — бывший вор, внук (Метью Бродерик) — начинающий. Сын не хочет, чтобы внук шел по стопам дедушки, а он об этом как раз и мечтает. И на дело отправляются втроем — Хоффман для страховки, чтобы не пострадал его отпрыск. Фильм, однако, стоит посмотреть. Довольно редко все-таки можно увидеть таких великолепных актеров в одной картине.

Напряженно смотрится картина "Невиновный" с Томом Селлеком ("Трое мужчин и дитя") в главной роли. Двое полицейских путают адрес, который им дал осведомитель, врываются в дом к

служащему авиакомпании в поисках наркотиков и, не найдя их, подкидывают мешочек с героином, ранив ни в чем не повинного человека. В суде жертву осуждают за попытку сопротивления полиции и сажают на шесть лет. Главный герой не желает мести, однако его к этому вынуждают.

"Дядя Бак" — приятная комедия с Джоном Кэнди ("Самолетом, поездом, машиной", "На лоне природы"). Старший брат просит младшего присмотреть за детьми, пока он с женой отправится навестить больного тестя. Дядя Бак — безалаберный и легкомысленный толстяк, неравнодушный к азартным играм и не имеющий своих детей, вынужден собраться, взять себя в руки и с честью выполнить просьбу брата.

После фильмов Ридли Скотта "Чужой" и Джеймса Камерона "Чужие", лента Джорджа Пан Косматоса ("Кобра") "Левиафан" не представляет особенного интереса. Действие происходит на сей раз не на чужой планете, а под водой. Что-то вроде "Пропасти" Джеймса Камерона, но гораздо слабее. Неизвестная бактерия, подмешанная в русскую водку, найденную промышленной экспедицией на затонувшем советском корабле "Левиафан", способна превратить человеческий организм в чудовищную мерзость.

Можете себе представить, что случилось с теми, кто обнаружил "зеленого змия" на этом корабле. Мне кажется, это предупреждение тем, кто вливает в себя непроверенную жидкость.

"Маленький Никита" — сын русских шпионов, которые давно забыли, чем должны заниматься люди их профессии на чужбине. Они уже стали американцами, и их сын не догадывается, кто же в самом деле были его родители в молодости. Но обстоятельства сложились так, что Никита узнает абсолютно все, а к тому же оказывается замешанным в очень опасную игру, из которой ему помогает выбраться агент ФБР (Сидней Пуатье).

"Три беглеца" — дебют французского режиссера Френсиса Вебера в Америке. Ник Нолти ("48 часов", "Богатые и бедные в Беверли Хиллз") — преступник и грабитель, выйдя из тюрьмы, тут же сам попадает в заложники к человеку (Мартин Шорт, "Три амигос"), решившему ограбить банк только потому, что не может прокормить свою маленькую, больную дочь, лишившуюся матери. Лирическая комедия доставит удовольствие зрителям.

Александр АДИН



ДЯДЯ БАК
(UNCLE BUCK) ***
США 96 мин. Комедия 1989

***** — отличный фильм
**** — хороший
*** — неплохой
** — ничего особенного
* — плохой

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
(FAMILY BUSINESS) ***
США 110 мин.
Триллер/комедия 1989

SEAN
CONNERY

MATTHEW
BRODERICK

DUSTIN
HOFFMAN

Release
Date
August
9



ROADSHOW
HOME VIDEO

VHS

FAMILY BUSINESS[®]

ТРИ БЕГЛЕЦА
(THREE FUGITIVES) ***
США 92 мин.
Комедия/триллер 1989

ЛЕВИАФАН (LEVIATHAN) **
США 94 мин.
Фантастика/ужас 1989

МАЛЕНЬКИЙ НИКИТА
(LITTLE NIKITA) **
США 93 мин. Триллер 1988

НЕВИНОВНЫЙ
(AN INNOCENT MAN) ****
США 110 мин. Триллер 1989

В скобках указаны названия фильмов
в оригинале



Цена 1 руб. 20 коп.
Индекс 70554